



Вадим Руднев
**Реальность
как я её вижу**

Вадим Руднев

Реальность, как я её вижу

Какой в действительности является мир? Этот вопрос является одним из самых важных в философии. Мы живем в мире, который кажется реальным, но на самом деле это всего лишь иллюзия. Мы не можем увидеть истинную природу вещей, мы видим только то, что нам кажется реальным. Мы живем в мире, который кажется реальным, но на самом деле это всего лишь иллюзия. Мы не можем увидеть истинную природу вещей, мы видим только то, что нам кажется реальным.

Итак, мир, который мы видим, является иллюзией. Мы не можем увидеть истинную природу вещей, мы видим только то, что нам кажется реальным. Мы живем в мире, который кажется реальным, но на самом деле это всего лишь иллюзия. Мы не можем увидеть истинную природу вещей, мы видим только то, что нам кажется реальным.

ISBN 978-5-7913-0193-2

УДК 165.4
ББК 87.22
Р83

Вадим Руднев

Р83 Вадим Руднев.

Реальность, как я её вижу. — СПб., М.: Центр Гуманитарных инициатив; Добросвет, 2021. — 242 с.

ISBN 978-5-7913-0193-2

Автор в представляемой читателю работе описывает окружающую реальность с глубоко субъективной точки зрения. Осмысление внешнего мира здесь возможно только через призму бессознательного. Любые внешние ощущения могут как отпечатать какой-то реальности, так и быть сугубо иллюзорны.

Читатель может подумать, что перед ним лишь очередной манифест абсолютного солипсизма, однако, для автора бессознательное расширяется до пространства сложного узора трансперсонального сознательного-бессознательного, близкого Гурджиевскому видению мира, что не позволяет сознанию автора остаться окончательно один на один с творимым (или воспринимаемым — какая разница!) миром.

Как можно ориентироваться и жить в реальности, воспринимаемой под таким углом зрения, можно узнать из нашей книги, которая, как мы надеемся, будет интересна всем любителям и знатокам современной философии и глубинной психологии.

ББК 87.22

Содержание

Глава Первая.

*В какую же реальность я верю?*7

Глава Вторая.

*Эффект Хомского и реальность, в которую я не верю*33

Глава Третья.

*Два уровня реальности*78

*Экскурс I. Модальная типология психических расстройств*86

Глава Четвертая.

*Реальность и мышление*153

Глава Пятая.

*Мысли и вещи*183

*Экскурс II. Реальное Лакана*219

В какую же реальность я верю? Я верю, что существует Третья симфония Бетховена и «На холмах Грузии лежит ночная тьма». Я верю, что они существуют помимо моего бессознательного. Что меня не было, а они были.

Что значит для меня верить? Это belief или faith? Для меня верить — это прежде всего belief. А в Бога ты тоже believe? Я верю, то есть полагаю, что Бог — это высшая реальность. Но ведь «полагать» — это пропозициональная установка. А, по правилу Фреге, косвенный контекст пропозициональной установки лишается значения истинности и на его место становится смысл. Правильно, Бог — это и есть высший Смысл, который к тому, что существует или не существует в обыденном смысле, не имеет никакого отношения.

Витгенштейн в своем фронтovém дневнике сделал такую запись: «Стань независим от внешнего мира, и тогда ты не будешь знать страха, что бы с тобой ни случилось». Как стать независимым от внешнего мира? Это значит жить против второго закона термодинамики. Жить так, словно ты — художественное произведение. Жить против жизни. Как это сделать? Здесь помогает творческий стиль жизни. Жизнь в тексте. Помнить, что все, что с тобой происходит, кем-то написано. Надо играть роль.

Я не знаю, как выразить свое отношение к обыденной реальности. Пожалуй, так: я ее не принимаю. Как Иван Карамазов. Почему я ее не принимаю? Потому что она ко мне не добра? Нет, я не верю, что вещи и факты

существуют сами по себе, помимо моего бессознательного. А как же «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? А это не вещь и не факт, это наше культурное достояние, часть нашего коллективного бессознательного. Я не могу не верить в «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Я просто знаю, что это есть. Что значит просто знаю? Ну просто знаю — и все!

В этой книге нет ссылок на источники и списка литературы. Поскольку эта книга, скорее, философский дневник, чем ученый трактат, я счел это оправданным.

У меня нет слов, чтобы выразить благодарность моему другу замечательному философу Георгию Чернавину, который прочитал всю мою книгу по фрагментам и сделал массу ценных замечаний и добавлений. Я также благодарен своей жене Татьяне Михайловой и психологу Кириллу Горелову за моральную поддержку.

Я желаю всем счастья.

В какую же реальность я верю?

1. У Лакана в семинаре «Психозы» есть ключевая фраза «Значение всегда отсылает к другому значению», которая давно не дает мне покоя и с которой я начинаю не первую свою книгу. Вероятно, можно предположить, что, поскольку психотик отворачивается от реальности, ему ничего не остается, как соотносить одно значение с другим. Но, поскольку все мы немного шизофреники, это «правило Лакана», как я его называл в других своих работах, распространяется на всех людей. Тем более, что Лакан в семинаре «Образования бессознательного» сам говорил, что норма — это лишь хорошо компенсированный психоз. Что такое значение? Это не то же самое, что означаемое, вещь, денотат. Это нечто среднее между означающим и означаемым. Когда мы говорим «ложка», у нас сразу возникает «вилка» или «тарелка». То есть язык работает в режиме ассоциаций, это, по-видимому, и хочет сказать Лакан. Язык не призван отражать реальность, язык сам формирует реальность и борется с ней — об этом я подробно писал в предыдущей своей книге «Нарративный диссонанс. Язык против реальности». Реальность, бытие формируются и у Лакана высказыванием, он так прямо и заявляет в семинаре «Ещё»: «Ясно ведь, что есть что-то лишь постольку, поскольку говорится, что оно есть». Итак, мы все немного психотики. Это означает, по Тимоти Кроу, что слова не похожи на вещи, а предложения — на факты, — арбитражность

языкового знака. Поэтому мы живем как будто в вымышленном мире слов и предложений. Вещей и фактов вне языка не существует. Вещь, незнакомую вещь надо как-то назвать или в крайнем случае обозвать: эта штука, эта хреновина. Тогда она станет реальной, не раньше.

2. Почему я не верю, что существуют просто тарелки, вилки, ложки, военный коммунизм, Пушкин, Боря Шифрин, Федор Иванович Гиренок, я сам — помимо моего сознания? Вернее, бессознательного. Сознание — вредная хрень, оно отсекает у нас параллельные миры. Но я почему-то верю, что существует бессознательное. Получается, что я верю, что бессознательное существует помимо моего бессознательного? А Бог? Ну что Бог? Наверно, Бог это самое бессознательное и есть, которое существует помимо моего.

3. Но есть люди, которые безусловно верят, что существуют просто тарелки и просто вилки. Это синтонные люди. Или органики. Синтонных я уважаю, их очень мало. Органиков я ненавижу, потому что они погубят род людской, если их не остановить. А как их остановить? Их никак не остановишь. Они размножаются, как кролики. В чем отличие синтонного человека от органика в плане их отношения к реальности? Синтонный «безмятежно пребывает среди вещей». А органик? Он пьет водку и бьет жену. Он всем недоволен. Он, как правило, алкоголик или наркоман. У него могут быть золотые руки, но он может этими золотыми руками задушить. Реалиста, синтонного или психастенического, можно

убедить, что «существует такая аутистическая точка зрения», что вещи не существуют помимо воспринимающего их (ладно уж) сознания. Органик просто не поймет, о чем идет речь. «А если Беркли дубиной ударить по голове!» (Д. Галковский «Бесконечный тупик»).

4. В какую же реальность я верю? Я верю, что существует Третья симфония Бетховена и «На холмах Грузии лежит ночная тьма». Я верю, что они существуют помимо моего бессознательного. Что меня не было, а они были. А в то, что существует «Майн кампф», ты веришь? Если верить, то в Бога, а не в дьявола. Что бы там ни говорил Витгенштейн своему другу Морису Друри, что «Майн Кампф» — это дельный (businesslike) текст. Вообще все, что от дьявола, не существует, это не реальность. Зло супрасегментно, как говорила моя покойная теща академик Т. М. Николаева. Но так можно зайти далеко. Можно сказать, что и концлагерей не существовало, так как они были порождениями дьявола. И сталинских репрессий тоже не было? Получается, что для тебя реальность это то, что зафиксировано семиотически, но идет от доброго, а все остальное — это не реальность. Концлагеря существовали, потому что от них сохранились свидетельства, культурная память. Но о Гитлере тоже сохранилась культурная память. Вот даже в Википедии есть статья «Гитлер». Что, нечем крыть?

5. Хорошо, подойдем к делу с другой стороны. Что значит для тебя верить? Это belief или faith? Для меня верить — это прежде всего belief. А в Бога ты тоже believe?

Я верю, то есть полагаю, что Бог — это высшая реальность. Но ведь «полагать» — это пропозициональная установка. А по правилу Фреге, косвенный контекст пропозициональной установки лишается значения истинности и на его место становится смысл. Правильно, Бог — это и есть высший Смысл, который к тому, что существует или не существует в обыденном смысле, не имеет никакого отношения. Ну допустим! А как вообще решается вопрос об истинностном значении? При помощи гипотезы Анны Вежбицкой: каждый контекст является на уровне глубинной структуры косвенным. «Я хочу, чтобы ты слышал и понял, что...» Вообще для меня истина и реальность не имеют друг к другу никакого отношения. Истина — такая же иллюзия, причем вредная, как внесемиотическая реальность. «Истинно, что реальность существует». Это предложение само себя перечеркивает, потому что «истинно» в данном случае играет роль пропозициональной установки, а «реальность существует» переходит в косвенный контекст и тем самым лишается истинностного значения. Существует только семиотическая нарративная реальность. Говорить «Истинно, что «На холмах Грузии лежит ночная мгла», по-моему, глупо. А можно ли сказать «Истинно, что я сейчас слушаю Третью симфонию Бетховена»? Нет! Реальность Третьей симфонии как раз-то и не зависит от того, слушаю я ее сейчас или нет. В чем же ее реальность? Что значит верить (полагать? нет, в данном случае именно верить!), что Третья симфония Бетховена реальна и существовала задолго до моего рождения? Это значит, что Третья симфония не подчиняется

второму началу термодинамики. А то, что нереально, значит, подчиняется? Значит, сам Бетховен нереален. А кто же написал Третью симфонию? Может ли нереальное породить реальное? Тогда придется выворачиваться и говорить, что это Бог водил его рукой, когда он писал партитуру Третьей симфонии. А рукой Гитлера тогда водил дьявол...

6. Витгенштейн в своем фронтовом дневнике сделал такую запись: «Стань независим от внешнего мира, и тогда ты не будешь знать страха, что бы с тобой ни случилось». Как стать независимым от внешнего мира? Это значит жить против второго закона термодинамики. Жить так, словно ты — художественное произведение. Жить против жизни. Как это сделать? Здесь помогает творческий стиль жизни. Жизнь в тексте. Помнить, что все, что с тобой происходит, кем-то написано. Надо играть роль. Какую роль? П. Д. Успенский утверждал, что человек в своей жизни разыгрывает роли из драмы Страстей Христовых и в разные части его жизни ему предстоит сыграть *разные*¹ роли в этой драме. Самая ответственная роль — это роль самого Христа. К этому призывает и Юнг в своих текстах — к постижению Самости, то есть к приближению к образу Иисуса. Тогда внешний мир не страшен. А почему он, собственно говоря, должен быть страшен? Потому что в нем обманывают, крадут, убивают. Вот почему! Если же все предопределено, а я верю, что все предопределено — «Но продуман

¹ Здесь и далее выделение автора.

распорядок действий, / И неотвратим конец пути», — то и бояться нечего. Вот мое отношение к реальности, которое я в себе вырабатываю.

7. Но как может быть реальность предметом веры или полагания? Как можно не верить, что сейчас 4 июня 2020 года, и я сижу у себя дома за компьютером и пытаюсь писать книгу «Реальность, в которую я верю»? Разве это может быть предметом веры? Разве можно в этом сомневаться? Дело не в этом! А дело в том, что это *неважно*. А что важно? Витгенштейн бы сказал, что наиболее важно то, что нельзя выразить словами. А что нельзя выразить словами? Ну раз это нельзя выразить словами, то нечего об этом и говорить. Но я говорил о чем-то более важном, чем то, какое сегодня число и чем я занимаюсь. Я не знаю, как выразить свое отношение к обыденной реальности. Пожалуй, так: я ее не принимаю. Как Иван Карамазов. Почему я ее не принимаю? Потому что она ко мне не добра? Нет, я не верю, что вещи и факты существуют сами по себе, помимо моего бессознательного? А как же «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? А это не вещь и не факт, это наше культурное достояние, часть нашего коллективного бессознательного. Я не могу не верить в «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Я просто знаю, что это есть. Что значит просто знаю? Ну просто знаю и все! Тут никакие аргументы неприложимы. И даже семиотика здесь не причем. Я могу сомневаться том, что существовал Пушкин. Ведь доказали же, что пьесы Шекспира, подписанные его именем, написал кто-то другой, но кто именно, так и не установлено.

Но «Гамлет» точно есть! И в том смысле привилегированное место занимает «Слово о полку Игореве». Именно потому, что неизвестно, кто и когда его написал. Очень хороший пример. В существовании этого текста сомневаться не приходится. Но если я сомневаюсь в *своем* существовании, то откуда же тогда берется «Слово о полку Игореве», если ты говоришь, что вещи и факты существуют только применительно к моему бессознательному. Нет, они существуют применительно к *коллективному* бессознательному. Извини, но это мистика. Мистика-не мистика, но коллективное бессознательное — это для меня тоже нечто несомненное. Коллективное бессознательное несомненно, а Юнг сомнителен. Значит, в Самость ты веришь, а в Иисуса Христа не веришь? Кто-то сказал: как я могу не верить в Христа, если Он меня спас. От чего же? Он меня спас? От смерти. Значит, ты не веришь и в смерть? Да, я не верю в смерть. А как же Витгенштейн умер от рака простаты? Это совсем другое дело. Это мир феноменов. Витгенштейн мог умереть от чего угодно, а «Логико-философскому трактату» от этого ничего не сделается. Но это же тривиальная мысль — культурное бессмертие. Я умру, но от меня останутся тексты, которые я написал. «Так весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». Так это душа. Надо еще понять, что такое душа. То, что подразумевал Сократ в «Федоне», или то, что подразумевал Родни Коллин в книге «Теория вечной жизни»? Я понимаю душу как «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Это часть неуничтожимой коллективной души. Это реальность, которую я принимаю.

8. Я принимаю не ту реальность, «которая дана нам в ощущениях», а ту, которая дана нам как коллективное бессознательное. «Быть может, прежде губ уже родился шепот». Вопрос в том, как «На холмах Грузии лежит ночная мгла» может быть элементом коллективного бессознательного, если его написал конкретный человек по имени А. С. Пушкин? Нет, вопрос так не стоит. Он в другом: как, в какой ипостаси стихотворение «На холмах Грузии...» стало элементом коллективного бессознательного? Оно что, всегда было, как мифы и как архаические рисунки в пещерах? Но бессознательному безразлично понятие времени, оно просто к нему неприменимо. Сократ был учеником Иисуса Христа. Вопрос о времени вообще не стоял, если бы не было двух противоположных направлений времени, энтропийного и информационного. Элементы коллективного бессознательного движутся в информативном времени. Ну, либо они движутся в информативном времени, либо в бессознательном вообще нет времени, как считал и Фрейд. Проблема же индивидуального бессознательного запутана. Как может существовать мое бессознательное, если я сам себе отказываю в существовании в определенном смысле. В каком же смысле? А в том, что я — человек, движущийся в энтропийном направлении времени. Я подвержен разрушению. Меня не будет. Но если меня не будет, а «На холмах Грузии...» останется, то получается слишком просто: все семиотическое информационно и, стало быть, бессмертно, а все телесное подвержено распаду. Но ты же не веришь в смерть! Я не верю в смерть как событие жизни (Витгенштейн).

Можно жить против жизни, и тогда смерть не страшна, ее просто не будет. Надо жить в направлении накопления информации. Независимо от внешнего мира. Что значит независимо от внешнего мира? Ведь ты же ешь, пьешь, читаешь лекции в университете, пишешь книги. И почему ты думаешь, что тот факт, что ты пишешь книги — это жизнь против жизни, а еда и питье — это жизнь по жизни. Ведь еда и питье — это тоже информационные процессы. Нельзя жить против жизни и при этом не есть и не пить.

9. Бессознательное — это то, во что я верю даже больше, чем в «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Что, по-твоему, такое бессознательное? Это порождающий механизм всего. Язык рождается в бессознательном. Но само бессознательное — не язык, тут я Лакану не верю. Значение всегда отсылает к другому значению. Вот с чего я начал и что самое главное при рассмотрении бессознательного. Бессознательное — это цепочка ассоциаций. Откуда же берутся ассоциации, если еще нет языка? Это чистые смыслы, доязыковые смыслы. Бесконечное множество смыслов (Матте Бланко). Могут ли смыслы существовать до языка? Еще как могут! Что значит смысл до языка? Приведи пример хотя бы одного, и тебе придется воспользоваться языком. «Границы моего языка означают границы моего мира». А там, за его пределами, только лакановское Реальное. Вот оно — то полно невысказываемых смыслов. Не пытайся их выговорить, но они есть. Если бы их не было, не было бы языка. Что такое доязыковой смысл? Это дзенский хлопок

одной ладони. Это звук топора, который бьет по воздуху. Вот что такое доязыковой смысл. Бессознательного никто не видел и не слышал, но оно самое фундаментальное, что есть на свете. Откажись от сознания, погрузись в бессознательное, и тебе откроются доязыковые смыслы. Но только как это сделать?

10. Ты веришь, что у тебя есть жена Татьяна Андреевна Михайлова? Да, в это я, безусловно, верю. Но ведь она — не то же самое, что на «Холмах Грузии лежит ночная мгла». Она не текст, она — живой человек. Что тебе придает веры в то, что твоя жена существует? Моя безграничная любовь к ней. Любовь информативна, ненависть энтропийна, разрушительна. Значит, плохих людей для тебя не существует? Тех, к кому ты испытываешь ненависть. Нет, это я перестаю существовать, когда испытываю ненависть. Любовь делает меня настоящим. И ты веришь, что твоя жена существует помимо бессознательного? Мне это неважно. Она просто есть, потому что я ее люблю. А ты веришь, что ты учился в Тарту и что у тебя была первая жена? Нет, не верю. Я не верю в то, что я учился в Тарту и у меня была студенческая жена. Но ведь у тебя есть диплом об окончании Тартуского университета. Но это просто бумажка. Ну вот бумажка. А ней написана информация. Ну и что, я все равно не верю. Тогда я перестаю тебя понимать. Я и сам давно перестал себя понимать. Так в какую реальность ты веришь? Я верю в реальность, которая прекрасна. Что за ответ! Это какое-то школьное сочинение. Что значит, что реальность прекрасна? Роза прекрас-

на, но она увядает и становится некрасивой, даже отталкивающей. Ты любишь только цветущую розу? Ты любишь память о цветущей розе? Никогда не понимал и не чувствовал, что такое память. Юрмих когда-то говорил, что фильм Тарковского «Зеркало» — это фильм о структуре человеческой памяти. Потому он такой нелинейный. А я думаю, что это фильм о структуре бессознательного. Память нас подводит, бессознательное — никогда. Бессознательное и память — это совершенно разные вещи. Ну хорошо, что такое память? Память это — «цветок засохший, безуханный». Я не верю в память. Память о том, что учился в Тарту и у меня была какая-то там жена, мне ничего не говорит. Я просто не знаю, где я учился и чему учился. А ты веришь, что ты работаешь в московском университете? Приходится верить, но это не имеет для меня никакого значения. А что для тебя имеет значение? Любовь! А в чем же она выражается? В том, что ты готов отдать жизнь за свою жену? Конечно готов. Без нее я не проживу и дня.

11. Веришь ли ты в сновидения? Я хочу сказать, являются ли, по твоему, сновидения важной частью реальности, в которую ты веришь? Безусловно, так. Сновидения — это сфера чистых смыслов, а как такова она является частью осмысленной реальности. Не надо только говорить, что у сновидения есть язык, как это делают многие психоаналитики. У сновидения не может быть языка, так как в нем нет денотативной сферы. Допускаешь ли ты в таком случае идею в буддийском духе, что вся реальность нам только снится?

Безусловно, допускаю. И что из этого следует? Из этого следует, что смысл важнее денотата. Ну и что дальше? А то, что сфера смыслов не подчиняется сфере денотатов, она действует самостоятельно. Как это можно доказать? Допустим, мне приснился какой-то сон. Как я его воспринимаю? Как часть реальности или как часть вымысла, иллюзию? Безусловно, я его воспринимаю как часть реальности. Но в каком смысле? В том смысле, что реальность, в которую я верю — это прежде всего сфера смысла. Может ли мне присниться стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? Конечно, может! И что это означает? Что между сном и явью нет принципиальной разницы, как я о том писал в книге «Быть и казаться». Но как же ты говоришь, что между сновидением и реальностью нет принципиальной разницы, если сновидения — это сфера смыслов, а реальность — сфера денотатов? Но я-то верю в реальность как в сферу смыслов. Как это понимать? Я живу, как будто сплю. И в этом состоит мой принцип жизни против жизни. Я живу вне действия второго начала термодинамики. Я накаливаю информацию, которая никогда не рассеивается. В этом смысле я бессмертен, пока я сплю. Когда я просыпаюсь, я становлюсь смертным. В этом безысходность жизни по жизни. Жизни под давлением второго начала термодинамики. Какой же из всего этого следует вывод? Что надо жить, как живется, и верить, во что верится, и Бог тебе судья. К чему я все это говорю и какое это все имеет отношение к проблеме реальности, в которую я верю? Самое прямое и непосредственное. Если сновидение — это

часть реальности, то именно оно наполняет реальность смыслом. Только из сновидения мы черпаем смыслы. Только благодаря сновидениям жизнь становится осмысленной. И ты в это веришь? Да, я в это верю. В таком случае приятных тебе сновидений! Ты напрасно иронизируешь надо мной. Если бы люди так относились к своим сновидениям, не было бы войн и насилия. Люди бы жили против жизни, они были бы бессмертны. Ведь во сне, по Дж. Данну, время становится многомерным, по нему можно двигаться как в прошлое, так и в будущее. А что это дает? Это дает бессмертие во сне. Если не хочешь, никогда не просыпайся — и ты будешь жить вечно. Но такая жизнь скучна! Это выбор каждого, умирать ли ему весело в действительности или жить скучно в сновидении вечно.

12. Что такое бессознательное? Это, как сказали бы Делёз и Гваттари, поток желающих машин. Чего они делают? Они желают нам смерти. Как бессознательное может желать человеку смерти? Очень просто. Оно инсинуирует ситуацию, когда желающие машины покидают свое тело без органов и остаются один на один с желанием. Присутствие бессознательно обеспечивает им превосходство над сознанием, превосходство, которого мы, люди, лишены. Что такое желающие машины? Это машины, работающие в испорченном режиме. Что обеспечивает этот испорченный режим. Некий соглядатай, который во мраке впитывает в себя тела без органов. Это лишь начало конца. В конце концов не так уже важно, есть ли желающие машины или их нет. Важно

другое. То, что называют телом без органов, без него никак не обойтись. Оно обеспечивает поэтому желание. Именно оно, а не бессознательное, желает нам смерти. Смерти без каких-либо преимуществ.

13. Вот вопросы по этому тексту, присланные моим другом, замечательным философом Георгием Чернавиным:

- *Как нам избавиться от путаницы между Вещью (произведением) и вещью (неназванным камнем, res)? Что делать с коллективной привычкой называть реальностью мир, где господствуют внесемиотические камни, а не мир произведений?*
- *Как (каким дзэнским хлопком одной ладони) продемонстрировать корреляцию между реальностью и смыслом убеждённому материалисту?*
- *Почему мы не можем наделять реальность смыслом по своему усмотрению? Почему она сопротивляется?*

Отвечаю на первый вопрос. Вещь как произведение является частью семиотической реальности, в то время как вещь внесемиотическая нам только кажется таковой. Впрочем, вещь-камень не существует без слова камень. Этого просто не может быть. Не может быть бессловесного мира. То есть, в сущности, реальность в принципе — это семиотическая реальность. Другой мы ее воспринимать не можем. Но это вопрос не семантики,

а прагмасемантики. Для человека, не умеющего воспринимать музыку, она будет бессмысленным внесемантическим набором звуков.

Ответ на второй вопрос. Он затруднителен. Наверно, убежденному материалисту можно показать, что вещей без слов не существует. А уж ему решать, что первично, а что вторично. Для меня, безусловно, первичны слова и другие знаки. Или, скорее, они более фундаментальны, более реальны.

Ответ на третий вопрос прост. Мы-таки наделяем реальность смыслом по своему произвольному, между прочим, усмотрению. А реальность сопротивляется потому, что она носит мнимый характер, ей язык не нужен. Вот как-то так.

14. Какова же природа мнимой реальности? Если язык первичен по отношению к ней или более фундаментален, но откуда взялся сам язык. Кто сказал первое слово? Бог? Но я не чувствую никакого Бога. Креационизм моему разуму недоступен. Но эволюционизм (дескать, мы произошли от обезьяны) меня тоже не удовлетворяет. Что же делать? Очевидно, решение должно быть где-то посередине. Например, язык был каким-то необъяснимым образом всегда, и из него каким-то необъяснимым образом образовалась реальность. Но какова роль человека в этом необъяснимом процессе? Откуда взялся человек? Из языка? Как-то это не укладывается в голову. Хорошо, оставим человека в покое. Человек — носитель языка. И этим все сказано. Но тогда выходит, что человек более первичен чем

язык? Тоже не получается. Человек — существо говорящее в принципе! Человек и язык нераздельны. В какую же реальность я верю? В ту, что существует, как существуют «На холмах Грузии лежит ночная мгла» или Девятая симфония. Но они каким-то непостижимым образом для меня более фундаментальны, чем их «создатели». Для меня не Пушкин написал «На холмах Грузии лежит ночная мгла», а «На холмах Грузии лежит ночная мгла» написало Пушкина, и не Бетховен написал Девятую симфонию, а Девятая симфония написала Бетховена. Это похоже на мои доводы, изложенные в книге «Новая модель реальности». Не человек входит в дверь, а дверь входит в человека. Что же дальше? В книге, о которой идет речь, я предложил модель движущейся в противоположные стороны ленты Мёбиуса. Тогда никаких противоречий не возникает: внутреннее переходит во внешнее, а внешнее — во внутреннее. Пушкин пишет «На холмах Грузии...» и одновременно на «Холмах Грузии...» пишет Пушкина. Но эта модель слишком схоластична. Я бы хотел оставаться в русле философии обыденного языка. Но как же, оставаясь в русле философии обыденного языка, можно утверждать, что Девятая симфония пишет Бетховена? Очевидно, надо пересмотреть саму идею обыденного языка.

15. Что такое, в сущности, обыденный язык и его философия? Обыденный язык — это тот язык, которым мы разговариваем в быту, а философия обыденного языка — это когда «все остается как есть». Что же из этого следует? Обыденный язык Витгенштейна и мой обыденный

язык — это разные языки. В мой (философский) обыденный язык входит представление о том, что дверь может входить в человека, в то время как Витгенштейн над этим только посмеялся бы. Но я не уверен, что над этим посмеялся бы автор «Логики смысла» Жиль Делёз. Мы все живем в мире своих проекций (в свое время эту мысль высказал Фредерик Пёрлз). Проекция нашего обыденного языка — это и есть та самая мнимая реальность, в которую я не верю. Но есть еще художественный язык, который создает высшие реальные ценности. Конечно, если речь идет о графомане или третьестепенном авторе, то никаких высших ценностей он не создает. А что же он тогда создает? Если он пытается копировать мнимую реальность, то он просто множит симулякры.

16. Что вообще такое реальность? Это просто очень сложная знаковая система. Все дело в степени ее сложности. И дело не в том, что интернет — это сложная семиотическая реальность, а клубень картошки — это простая реальность. Дело в другом. В чем же? В том, как поступает «пользователь» реальности. Если он не знает языка интернета, но знает, как поджарить картошку, это одно дело. Но совсем другое дело, когда пользователь реальности знает язык Интернета и как им пользоваться, но не знает, как поджарить картошку. Что мы хотим этим сказать? Значения оживляют вещи. Вернее, не значения, а смыслы. В этом плане в определенном смысле уметь поджарить картошку важнее, чем пользоваться интернетом. Без него мы как-нибудь проживем, а вот без картошки — никуда! Но если

вдуматься, то окажется, что клубень картошки несколько не проще интернета. Даже в каком-то смысле сложнее. Каким бы могущественным ни был интернет, он не сумеет поджарить картошку.

17. Вещи могут использоваться носителями реальности только тогда, когда они становятся знаками. Что нужно, чтобы вещь стала знаком? Надо ее поименовать. Как писал Д. Самойлов, «Пока предмет не назван, он непонятен нам». Вопрос о том, что первично — вещи или знаки — сложен. С одной стороны, вещи первичны, так как в противном случае нечего было бы поименовывать. С другой стороны, можно сказать, что знаки первичны по отношению к вещам подобно тому, как язык вообще первичен, во всяком случае, более фундаментален, чем реальность. Как это понять на языке философии обыденного языка? Чтобы вещь стала знаком, нужно, как уже говорилось, ее поименовать. Но откуда берется то, чем мы поименовываем вещи? Этот вопрос равносителен вопросу, откуда берется язык. Мы полагаем, что язык был вначале, чтобы из него можно было поименовать вещи. Но обе позиции кажутся несовместимыми друг с другом. Что же делать? Видимо, здесь на самом деле имеет место то, что Авенариус еще в конце XIX века называл принципиальной координацией. В данном случае между вещами и знаками. То есть, как писал когда-то А. М. Пятигорский, человек живет не в мире знаков и не в мире вещей, а в мире выбора между знаками и вещами. Это прагматическое основание всякой семиотической теории и всякой онтологии.

18. Но как осуществляется выбор между вещами и знаками? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале определиться, что мы понимаем под человеком. Я лично понимаю под человеком существо, наделенное бессознательным, причем как индивидуальным, так и коллективным. Животные не обладают бессознательным, поэтому они не могут говорить. Язык скрыт в бессознательном. И выбор происходит на уровне бессознательного. Как это понять? Так, что языковая компетенция обрушивается на вещи с позиций коллективного бессознательного, в котором есть только архетипы, не являющиеся ни вещами, ни знаками, но одновременно являющиеся и тем и другим.

19. В этом смысле архетипы являются странными объектами в бионовском смысле слова. Они воздействуют на семантику вещей. Мы окружены архетипами как странными объектами, и, по-видимому, в том и заключается суть функционирования языка. Архетипов-странных объектов великое множество. Каждая вещь может стать архетипом, а может и перестать быть им. Что происходит, когда вещь становится архетипом? Она в этом случае наполняется бесконечным числом смыслов.

Камень не может быть просто камнем. Он о чем-то мне говорит. О чем он говорит? О чем он может, в состоянии сказать? О том, сколько ему лет, или о том, кто под ним лежит. На камне может быть какая-то полустертая надпись на непонятном языке. Мы все время расшифровываем послания природы, как охотник

в лесу расшифровывает следы на снегу, сломанные ветки и т. д. Я (В. П. Руднев) вижу камень, лежащий на дороге. Я вспоминаю статью Фрейда о человеке Крысе, который совершал компульсивные манипуляции с дорожным камнем. Я вспоминаю (а как же без этого!) «Камень» Мандельштама. Или строки «Господний раб и бригадир / Под камнем сим вкушает мир», или «И кто-то камень положил / В его протянутую руку». Что символизирует камень в христианской культуре? Истину. Камень являющиеся это Петр, бывший Симон, краеугольный камень, на котором Христос решил построить свою церковь. Но это я, образованный человек, филолог, психоаналитик. Я работаю ассоциациями. А если неотесанный крестьянин идет по дороге, он и не заметит этот камень. Или он может на нем посидеть и отдохнуть. Что такое культура для простого народа? Песня, анекдот, частушка. «Положи, Бог, камушком, подыми калачиком» (Платон Каратаев).

Что происходит, когда вещь перестает быть архетипом? В определенном смысле она перестает быть вещью, потому что в этом случае нарушается правило Лакана, о котором мы писали в начале книги и в соответствии с которым каждое значение всегда отсылает к другому значению. Если слова и вещи становятся однозначными, то есть лишаются архетипичности, они не могут более отсылать друг к другу. Это идеал Венского логического кружка. Но на таком языке, как писал поздний Витгенштейн, невозможно говорить, как невозможно ходить по идеально гладкому льду.

20. Федор Гиренок в книге «Введение в сингулярную философию» писал:

Бытие тождественно мысли о бытии. Откуда же взялась мысль? Дело в том, что бытие понимается Парменидом вне времени, и мысль понимается вне времени. О чем может быть мысль? О том, что есть. Существование и мысль о существовании — одно и то же. Но это не значит, что дерево и мысль о дереве — одно и то же. Дерево можно спилить. Оно во времени и пространстве. А мысль не пилится. Но ее можно передумать. Для Парменида она вне времени.

Вот в этом вся суть проблемы. Сама идея, что бытие тождественно мысли о бытии, чрезвычайно симпатична. Но как быть с деревьями, чашками, компьютерами и т. д. К мысли нельзя прикоснуться. Разве что другой мыслью. Мысль нельзя оттолкнуть. Разве что другой мыслью. Но правда ли, что мысль находится вне пространства и времени. Если принять идею Витгенштейна, что мысль — это осмысленное высказывание, то она будет в пространстве и времени. И тогда мысль и высказывание о мысли будет одним и тем же.

21. Идея, в соответствии с которой мысль о бытии и бытие одно и то же, приводит нас к тому, что сновидение и реальность — это также одно и то же. Нет, даже к тому, что сновидение более фундаментально, чем так называемая реальность. Потому что в сновидении все свободно, а в реальности все предопределено. И мысль

о бытии тоже более фундаментальна, чем само бытие. Но как же мы тогда говорим, что это одно и то же? Это феноменологически они одно и то же, а метафизически мысль о бытии фундаментальнее, чем само бытие. Что же из этого следует в нашем понимании реальности? То, что мысль и слово — мысль в большей степени, чем слово и высказывание — важнее так называемой внешней реальности. Если бы это было не так, то зачем было бы жить на свете! Почему? Да потому что мы смертны, а мысль движется со скоростью, большей скорости света. Мы остаемся далеко позади своих мыслей, своих сновидений.

22. Если, как утверждает Ф. И. Гиренок в своей последней книге (Гиренок, 2020), рождение человека — это сингулярный взрыв галлюцинаций, то этот взрыв галлюцинаций уходит далеко вперед по сравнению с развитием человечества. Какое это отношение имеет к нашему пониманию реальности? Если, как говорит Гиренок, мы живем, грезя наяву, то наши грезы гораздо фундаментальней наших домов, детей или компьютеров. Кажется, что мы здесь просто повторяем идеалистическую философию. В определенном смысле это так и есть.

23. Но Витгенштейн считал по-иному. Вспомним его знаменитую максиму из «Трактата»:

4.014 Граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны — все это находится между собой в таком же внутреннем отноше-

нии отображения, которое имеется между языком и миром. Все они имеют общий логический строй. (Как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях. Все они в определенном отношении одно).

Прежде всего, о какой сказке идет речь в 4.014? Речь идет, несомненно, о сказке братьев Grimm «Золотые дети» (N 85). В ней говорится о том, что золотая рыбка, пойманная стариком, предложила ему расчленить себя на шесть частей, две из них дать съесть жене, другие две дать съесть лошади, а оставшиеся две закопать в землю. От съеденных старухой кусков родились два золотых близнеца (те самые два юноши), лошадь родила двух золотых жеребят («их лошади»), а из двух закопанных кусков выросли две золотые лилии. Когда один из братьев был в отлучке, если с ним происходило нечто дурное, лилии привядали, если же один из братьев бы умер, лилии увяли бы совсем, так что второй брат, находясь в разлуке с первым, но имея при себе лилии, всегда мог узнать, как идут дела у брата. Именно в этом смысле юноши, лошади и лилии — одно: генетически, а не только проективно они все сделаны из одного золотого «слитка», из кусков золотой рыбки.

Но действительно ли раздел 4.014 играет столь важную роль для понимания «Трактата»? Кажется, что это именно так, ибо здесь идет речь об одном из определяющих принципов его идеологии: о том, что язык является отражением реальности, построен изоморфным по отношению к реальности образом, что элементы языка и реальности взаимно отражают друг друга.

Граммофонная пластинка и звуковые волны — это элементы реальности; музыкальная тема и нотная запись суть элементы языка. Тот факт, что Витгенштейн их не разделяет, а приводит вперемежку («граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны...»), весьма многозначителен. Витгенштейн тоже не противопоставляет язык и реальность. У него нет идеи, что звуковые волны и пластинка, с одной стороны, и музыкальная тема и нотная запись, с другой, суть онтологически противоположные объекты. Для Витгенштейна нет проблемы разделения материи и сознания, реальности и текста, так как он не является ни материалистом, ни идеалистом в традиционном смысле — в одном месте «Трактата» он прямо говорит, что идеализм (солипсизм) и материализм (реализм) — это одно и то же, если они строго продуманы (5. 64) (ср. также сходную формулировку в «Тетрадах 1914–1916» (*Wittgenstein, 1982*)).

Что же получается? Пластинка и звуковые волны, реализм и солипсизм, этика и эстетика (6.422) — все это, если разобраться, одно и то же. Но отличаются ли принципиально витгенштейновские отождествления каким-либо принципиальным образом от доктрины Фреге о смысле и денотате? Разве «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» — это в определенном смысле не одно и то же? По Фреге, у этих двух выражений один денотат, но два различных смысла. Однако Витгенштейн в «Трактате» говорит, что имена (и дескрипции) не обладают смыслом, различие между смыслом и значением начинается только на уровне пропозиции: **3.142 Выразить смысл могут только факты, класс имен этого не может;**

3.3 Только пропозиция имеет смысл; только в пропозиции имя обретает значение. Итак, Витгенштейн отвергает дихотомию смысла/денотата для имени. Но что же тогда означает различие между Утренней звездой и Вечерней звездой? Для Витгенштейна, как музыкальная тема, граммофонная пластинка и нотная запись — это разные вещи, хотя, в то же время, они в определенном смысле одно. Можно ли, отказавшись от фрегевской дихотомии, продолжить и усилить эту мысль, заявив, например, что Земля и Луна — в определенном смысле одно? Что они имеют общий логический строй? Мифологическая мысль действует по ассоциации. Земля круглая и Луна круглая. Они логически изоморфны, взаимно отражают друг друга. Когда-то, может быть, они были одним, а потом отделились и теперь связаны невидимой мистической связью. Можно ли сказать, что Витгенштейн — это письменный стол, на котором лежит «Логико-философский трактат»? Можно ли сказать, что Витгенштейн и «Логико-философский трактат» — это одно и то же? Я могу сказать: «Дай мне, пожалуйста, Витгенштейна, он лежит там, на столе», имея в виду, конечно, книгу «Логико-философский трактат».

Удивительным образом шесть кусков золотой рыбки, превращенные в три пары взаимно изоморфных объектов, соответствуют шести главным онтологическим терминам «Трактата», также разделенным на три пары. Это «простой предмет» (Gegenstand) — наименьшая часть субстанции мира, — которому в языке соответствует «простое имя»; далее это «положение вещей» (Sachverhalt) — элементарная констелляция простых

предметов, — которому в языке соответствует понятие «элементарной пропозиции»; наконец, это «факт» (Tatsache, в возможных мирах ему соответствует «ситуация» — Sachlage) — констелляция положений вещей, основной элемент для построения мира как акциденции (1–1.2), которому в языке соответствует пропозиция.

Предмет (1) и имя (2) — близнецы, как два юноши; то же самое — положение вещей (3) и элементарная пропозиция (4); то же самое — факт (5) и пропозиция (6). И самое главное, в определенном смысле можно сказать, что все они — одно. Имя не фигурирует в языке самостоятельно, так же как предмет не фигурирует самостоятельно в мире. Имя фигурирует в языке только в составе элементарной пропозиции, а предмет в мире — лишь в составе положения вещей. В этом смысле «стол» и «это стол» для Витгенштейна — одно и то же, потому что не существует такого контекста, где имя «стол» функционировало бы само по себе. Даже в словаре имя существует неразрывно со своим определением. С другой стороны, любая пропозиция логически сводима к элементарной пропозиции, является ее функцией истинности. Поэтому, например, пропозиция «Витгенштейн — великий философ» и условно элементарная пропозиция «Это Витгенштейн» — одно и то же. Итак, шесть сущностей: «предмет» Витгенштейн, его картина — «имя» Витгенштейн, «положение вещей» — «это Витгенштейн», его картина — «элементарная пропозиция» — «это Витгенштейн», «факт» — «Витгенштейн — великий философ» и его картина — «пропозиция» — «Витгенштейн — великий философ». Все это, по сути, одно и то же.

Эффект Хомского и реальность, в которую я не верю.

1. Каждое высказывание о реальности, равное самой реальности — реальность это совокупность высказываний и языковых игр, — модально окрашено. Ясно, что применительно к таким высказываниям, как «Я тебя люблю» или «Я тебе ненавижу», это очевидно. Это ярко аксиологически окрашенные фрагменты высказываний о реальности. Но как быть в случае такого нейтрального на первый взгляд предложения, как, например, «Человек шел по улице»? Это высказывание окрашено пространственной модальностью. Что это нам дает? Это дает реализацию «Эффекта Хомского», о котором я писал в книге «Я и реальность». В соответствии с этим эффектом любое высказывание речи носит новаторский характер. Так, например, если человек шел по улице зимой — это одно, а если он шел по той же самой улице летом, то это совсем другое. Но даже если он шел по этой же самой улице зимой в одно и то же время, все равно полного повторения не произойдет. Потому что человек в это время думал о разном. Абсолютных повторений не бывает. Даже если мы имеем дело с obsессией, когда человек, например, бессмысленно повторяет одну и ту же фразу, он повторяет ее в разных обстоятельствах. А что это дает нам? То, что реальность неповторима. Нельзя два раза сказать одно и то же. Это будет

два разных высказывания при их внешнем полном тождестве. (Вспомним Гераклита!)

2. Эффект Хомского реализуется в определенном смысле потому, что, согласно воззрениям Гурджиева и его учеников, не бывает целостного Я, есть лишь маленькие я. Поэтому то, что сказано одним маленьким я, повторяется другими маленькими я. И поэтому полного повторения не происходит. Что это нам дает для понимания реальности? То, что реальность — это нечто неповторимое. Кажется, что это банальность. Но это не так. Что такое, в сущности, реальность? Это то, что имеет непреходящий характер. Что это значит? А то, что реальность всегда с нами. Что бы мы ни делали. Что значит, что реальность всегда с нами? А если мы спим? Состояние сна семиотически неопределенно. Но это не мешает ему быть более или менее значимым в нашей жизни.

3. Что, в сущности, означает, что сновидения семиотически неопределенны? Это означает, что в них нет плана содержания. Сновидения исполнены смыслом. Смысл этот непереводаем в дискретные знаки. Поэтому толковать сновидения бессмысленно, как считал, например, Норман Малкольм. Но это не отменяет значимость сновидений. В каком плане? В книге «Новая модель сновидения» я приводил сон, в котором летаю над Москвой.

Еще раз: нам только кажется, что мы видим сон, на самом деле то, что мы видим, — это и есть реальность. Когда-то мне снилось, что я лечу над Москвой.

Ведь я в тот момент реально не летел над Москвой, а лежал и спал. Как же я могу говорить, что мой полет над Москвой — это нечто реальное. Но ведь я действительно испытывал ощущение полета, я видел внизу Кремль. Но при этом я спал? Да, при этом я спал. И никакого Кремля на самом деле не было? Ну как же не было! Ведь я его видел! Ведь я его действительно видел. И если бы наяву я пролетал над Кремлем на вертолете, примерно все так бы и видел. — Скажите, а это сон он на вас оказал большое воздействие? — Да. Огромное. В этом сне я переместился по данновскому измерению в будущее, это было символическое овладение Москвой. — И что же, вы потом действительно овладели Москвой? — Ну как вам сказать, я очень полюбил Москву. Я здесь счастлив. — А может быть, это было не сновидение и вы действительно летали над Москвой? — Может быть. — А как вы это себе представляете? — Ну, например, я запомнил, как я пролетал над Москвой на самолете, а потом мне показалось, что мне это приснилось.

4. Но вернемся к эффекту Хомского, к тому, что каждое высказывание имеет новаторский характер. Итак, реальность неповторима, нельзя два раза произнести одно и то же высказывание так, чтобы оно означало одно и то же. Это переформулированный принцип Витгенштейна: значение есть употребление. К чему ты клонишь? Считал ли Витгенштейн, что реальность неповторима? Он говорил: верь, это не повредит! А ты не веришь! Когда ты

перестал верить? Когда началась депрессия. Теперь депрессия кончается, и надо начать верить во что-нибудь. Я верю в свою жену. Этого мало: надо верить в Бога. Но как это сделать? Реальность неповторима и прекрасна. Если ты не верил в Бога, значит, такова была твоя реальность. Сейчас наступает другая реальность. Будет ли там Бог, еще неизвестно. Но я верю в хорошее.

5. Вернемся к тому, что реальность неповторима. Что это означает? Это означает, что нельзя быть одновременно в одной и той же реальности и одновременно в разных реальностях. Например, сегодня жара. Но вчера тоже была та же самая жара. Но вчера ты не писал, а сегодня ты пишешь. 10 минут назад ты писал один параграф, сейчас пишешь другой. Если бы реальность повторялась и был бы валиден принцип Ницше, существование человека было бы бессмысленным. Почему? «Все было встарь, все повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг». Это написал Мандельштам. Тогда был в моде Ницше. Я не люблю Ницше, я люблю Рассела. «Почему я не христианин?» Ты можешь писать, о чем угодно. Когда человек верит, ему легче живется. Почему? Потому что он чувствует кого-то за спиной. Я никого пока не чувствую за спиной, кроме себя самого и своих друзей, своей жены.

6. Депрессия — это отсутствие реальности, потому что при депрессии отсутствует смысл, одна голая сфера денотатов. Тогда получается, что реальность должна быть осмысленна. Как ты это понимаешь? Я это понимаю так,

что только в сфере смыслов происходит то, что я называю небывалым, уникальным, неповторимым. Бог неповторим. Почему при депрессии Бог отсутствует? Потому что Бог — это чистый смысл. По Биону мысли рождаются во сне, в сфере чистого смысла. Бог — это нечто сновидческое. Бог потому неповторим, что он снится.

7. Бог и депрессия несовместимы. Бог шизофреничен. Выходит, во мне было мало шизофреника. Шизофрения — это сфера чистых смыслов. Вот почему великие богословы были шизофреники. Шизофрения имеет место в состоянии, ничем не отличимом от сновидения. Это азбука психоанализа. Что происходит при шизофрении? Все что угодно. Все равно всему, и все равно бесконечности (Матте Бланко).

8. Что значит, что Бог снится? Я не помню, чтобы я когда-нибудь видел во сне Бога. Я увидел его один раз наяву, вернее, почувствовал. Я тогда очень испугался. Во мне слишком много здравого смысла. Недаром Мур — один из моих любимых философов.

9. В чем неповторимость реальности, в которую я верю? В ее исполненности смыслом. Даже бессмысленное исполнено смыслом. Даже в депрессии есть свой смысл. Какой смысл в депрессии? Это как если все время идет дождь. В конце концов дождь кончится, и выглянет солнце.

10. Ты хочешь знать, что значит, что Бог снится? В депрессии человек может видеть яркие сны. Это компен-

сирует бесцветность его жизни наяву. Депрессивный человек не верит своим сновидениям. Шизофреник спит наяву. Сон наяву — вот кратчайший путь к Богу.

11. Но что значит спать наяву? Это когда происходит все, что угодно. Кругом, возможно, Бог.

12. Бог создает неповторимость реальности. Но ведь Бог один, а реальность многообразна. Многообразие реальности обусловлено ее неповторимостью. Почему я теперь все время слушаю Четвертую симфонию Малера? Ее неповторимость в каждый отдельный момент обусловлена тем, что я — частичный объект. Что значит быть частичным объектом? Это значит не знать Бога. Неповторимость и многообразие суть противоречия в терминах. Я как частичный объект неповторим и многообразен. Бог един и неповторим. Неповторимость Бога иная, чем неповторимость Четвертой симфонии Малера. Хотя в каждом великом произведении есть что-то божественное. Я больше не боюсь быть банальным. Слишком много пережито.

13. Итак, эффект Хомского, неповторимость каждого высказывания, божественность симфонии Малера, отсутствие страха банальности. Для чего нужен эффект Хомского? Для того, чтобы можно было жить дальше. Иначе все дни слишком похожи один на другой. У депрессивных не бывает эффекта Хомского. Стало быть, этот эффект связан со сферой смыслов, а не со сферой денотатов. Что из этого следует? Что денотаты однообразны.

Вот молоток. Молоток он и есть молоток. Что с него взять. А вот смыслы — это совсем другое дело.

14. Что придает реальности смысл? Разве Бог? Когда я повторяю одно и то же, когда я много раз слушаю одну и ту же симфонию Малера, то причем здесь Бог? Бог-то не причем, но все равно ты слышишь Его и хочешь писать о Нем. Бог — это проснувшийся смысл.

15. Что ты хочешь сказать о Боге? Что с Ним легче жить? Почему должно легче жить? Жить надо не легко. А продуктивно.

16. Эта книга о реальности, в которую я верю. Я начал писать ее, не веря в Бога. Я и сейчас не верю. Но Он стал для меня актуален. Смыслы проснулись.

17. Выше я написал, что депрессия — это отсутствие реальности. Депрессия — царство денотатов, реальность, в которую я верю, — это царство смыслов. Реальность шизофренична. *Моя* реальность шизофренична. Реальность в духе нарративной онтологии. В этом плане депрессия имеет прямое отношение к сфере истины, а реальность — не имеет. Это звучит как парадокс. Но в нарративной онтологии истина не играет никакой роли. Какую же роль играет истина в депрессии? Депрессивный человек не знает нарративной. Для него не существуют ключевые в нарративной онтологии вопросы — что будет дальше? и чем кончится? Для депрессии важно понять, что «мне плохо».

Истинно, что мне плохо. Мне плохо и неинтересно. При шизофрении мне плохо и интересно.

18. Напомню, что, по моему мнению, при депрессии отсутствует нарративная реальность в том смысле, в каком она присутствует для недепрессивного творческого человека. Энергия заблуждения — вот чего не хватает депрессии. Этот ключевой термин Виктора Шкловского как нельзя более подходит для нарративной онтологии. Мир смыслов трансгрессивен по отношению к миру истины. Вот почему Делёз пишет, что сказать «Бог есть» и «Бога нет» имеет один и тот же смысл. В депрессии все не так. В депрессии сказать «Бог есть» значит выйти из депрессии.

19. Почему при депрессии господствует истина? С точки зрения эффекта Хомского никакой истины вообще нет. Я всегда говорю что-то новое. Всегда выбираю свою энергию заблуждения. «Идет дождь, но я так не считаю.» Что происходит при депрессии? Эффект Хомского исчезает. Депрессивному кажется, что все повторяется изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту. Это повторение и есть истина. Истина скучна, как скучна сама депрессия. Как скучно повторение. Отсутствие всякой наррации. Депрессивный человек живет по истине. Что это значит? Это значит, что ему неинтересно жить. Не то чтобы мучительно — шизофренику тоже мучительно, а неинтересно. Что может быть интересного в денотатах — в молотке, в клещах. Недаром депрессивные отрываются во сне.

20. Реальность денотатов, реальность истины — эта та реальность, в которую я не верю. Почему? Потому что с истиной жить неинтересно. Это понимал Достоевский, когда сказал, что останется с Христом, а не с истиной. Депрессивные остаются с истиной. Как Понтий Пилат.

21. Истина является производной от власти, при помощи иллюзии истины тоталитарная власть манипулирует людьми. Так мог сказать только Фуко. Причем же здесь депрессия? Предположим, что депрессия — это не болезнь, а некое состояние бессознательного, некая языковая игра. В духе антипсихиатрии. Что мы тогда получим? Мы получим некий опыт, некий редуцированный опыт. Что это за опыт? Это опыт игры денотатов, лишенных смыслов. Своеобразная антиигра в бисер. Что может быть прообразом этой игры. Как уже говорилось со ссылкой на Фуко, тоталитарная власть. Витгенштейн был помешан на истине. Может быть, поэтому ему нравился сталинский режим и не нравилась английская демократия.

22. То, что демократия — это не плюрализм истин, как считают современные аналитики вроде Патнэма и Рорти, а отрицание истины, вроде бы неочевидно. Но я постараюсь показать, что демократия убивает истину. Я вспоминаю рассказ раннего Чехова «Драма», где некая дама приходит к известному писателю и насилует его своей драмой. В конце концов писатель не выдерживает и убивает даму тяжелым пресс-папье. Рассказ

заканчивается словами «Присяжные оправдали его». Демократия убила истину, которая заключается в том, что писатель был убийцей. Однако он невиновен в убийстве, дама довела его, он убил, как тогда говорили, в состоянии аффекта. Вообще институт присяжных — это, если перефразировать слова Леви-Строса о музыке, времени и мифе, инструмент по уничтожению. Присяжные оправдали Веру Засулич. Немудрено, что в современной России с ее богатой традицией тоталитаризма суд присяжных не привился. Но почему тоталитаризм — это истина? Потому что истина — это иллюзия власти, она навязывается. Тот, кто думает иначе — диссидент, будь добр, глотай галопиридол. Тот, кто думает иначе, при тоталитаризме — безумец. При демократии тот, кто думает иначе — это просто законопослушный гражданин. Думать иначе при демократии — это норма. Потому что истины не существует. Она не просто прагматична, как думают философы-аналитики, она уничтожается. Если бы она была и носила прагматический характер, то никакой демократии не было бы, была бы олигархия, то есть власть богатых.

23. Навязчивый поиск истины связан с кризисом мифологического мышления, в котором нет никакой истины и лжи. Весь Эдипов комплекс, как он представлен в классическом психоанализе, построен на недоразумении. Никакого кровосмешения не было. Здесь вновь вспомним Леви-Строса, его статью «Структура мифа». Толкуя миф об Эдипе, Леви-Строс обращает внимание на этимологию имени Эдипа («толстоногий») и Лая

(«левша»): в обоих случаях имеет место затрудненность владения конечностями. Леви-Строс связывает это с проблемой автохтонности: рождаясь из земли, Эдип повреждает одну из конечностей, что, с одной стороны, парадоксальным образом преломляет мотив кровосмешения: выходит, что никакого кровосмешения не могло быть, так как идея рождения от двух людей чужда архаическому сознанию, и, с другой стороны, подключает еще алетический мотив чудесного рождения. В ритуально-мифологическом мире бог или герой с необходимостью должен был родиться не от двух людей, а каким бы то ни было иным образом: так, Кухулин рождается от того, что его мать выпила воду с насекомым, Афина — из головы Зевса, Чингисхан — от наговора. Эдипов комплекс имеет смысл просто как налаживание зрелых объектных отношений между ребенком и родителями.

24. Мое мнение заключается в том, что различие, к примеру, между демократами и республиканцами имеет сугубо психологическую подоплеку. К примеру, истерическое начало возникает на фоне достаточно зрелых объектных отношений. Да, отношения зрелые, это так, но пользуется будущий истерик ими незрело. Как именно? Он не устанавливает какой-то определенности в отношениях с матерью и отцом, он примыкает то к матери против отца, то к отцу против матери. На это можно возразить: почему обязательно нужно вступать в конфликт с кем-то, почему нельзя всем троим жить дружно? По-видимому, это универсальный социально-психологический закон. В политике, для того чтобы возможна

была демократия, необходимы минимум две партии, которые вступают в конфликт между собой, в борьбу за избирателя и за власть — потому что конфликт — это развитие. Между республиканцами и демократами может не быть большой разницы, но жизненное пространство устроено так, что они должны конфликтовать в борьбе за избирателя. И вот две партии — это аналог отца и матери, а избиратель — аналог нашего маленького субъекта. Он все время голосует, и ему нужно сделать выбор, потому что жизнь так устроена. Избиратель не может голосовать одновременно за демократов и за республиканцев. Точно так же ребенок не может одинаково любить отца и мать, он должен сделать выбор. Это и есть то наименьшее зло, которое дает эта демократия объектных отношений. Но если партия только одна — это ведет к тоталитаризму, аналогом чего служат диадные объектные отношения. Когда выбирать не из кого, никакой демократии не получится. Таким образом, тоталитарный режим — аналог психоза (недаром почти все тоталитарные лидеры были психотиками или околоспсихотиками), а демократический режим — аналог невроза: здесь все не гладко, но все-таки жить можно. И вот будущий истерический невротик не знает, за кого ему голосовать, он примыкает то к одной партии, то к другой. Другими словами, он при зрелых объектных отношениях пользуется незрелой плавающей идентичностью: он не знает определенно, чей он сын (или дочь) мамин или папин. (Поэтому неслучаен стандартный вопрос, который обычно задают ребенку Эдипова возраста: «Ты кого больше любишь, маму или папу?») За этим как будто бы

внешне бессмысленным вопросом стоит огромная психологическая проблематика.) Почему это происходит? Потому что истерия формируется в период фаллической стадии, когда временно архаическая аксиологическая модальность вновь (после деонтических норм анального периода) занимает первое место — любование своим фаллосом — аналог позднейшей истерической инфантильной позы, демонстративности, как говорят характерологи. Истерик перескакивает через анальную фазу, он как-то ее незаметно проходит и из аксиологической оральности сразу попадает в фаллическую аксиологию. Что же касается анальной фазы, то здесь как раз наибольшую актуальность приобретают деонтические нормы «должно — нельзя» — здесь властвует отец. Если ребенок зафиксирован на этой стадии, он станет обсессивной личностью и последующая фаллическая стадия пройдет для него незамеченной. Это будет человек нормы. И это перегиб в другую сторону, как если бы избиратель всю жизнь голосовал только за республиканцев, не вдаваясь в суть дела, просто потому что так поступали в его семье. Это негибкая, вязкая позиция обсессивного невротика противопоставлена сверхгибкой безответственной позиции истерического субъекта. Истерик голосует за того, кто больше его любит. То есть предпочтения обсессивного — это предпочтения, диктуемые моралью; он так делает, потому что так надо, а истерик поступает определенным образом, потому что ему так хочется. В результате и то и другое является ненормальным перегибом — мы знаем, как страдают истерики и как страдают ананкасты. Но что же можно

предложить взамен? Что означает зрелую позицию? Что такое нормальный человек, в конце концов? Нормальный человек — это такой человек, у которого деонтические нормы не перевешивают аксиологические удовольствия, другими словами, это такой человек, у которого Суперэго (совпадающее со сферой норм) и Ид (совпадающее со сферой удовольствий) живут в согласии и гармонии. Конечно, такое положение вещей — идеал. Всегда в каждом человеке есть либо истерический перегиб, либо обсессивный, либо и того и другого понемножку. Но если понемножку того или другого самую малость — это и есть не идеализированная, а реальная зрелая личность — у нее есть и нормы, и аксиологические радости. Такие люди проходят испытание в детстве Эдиповым комплексом, разрешают, избывают его и уходят дальше в своем развитии, не зафиксированные ни на том, ни на другом, ни на третьем. Или, что чаще, зафиксированные, но только слегка на всем понемножку.

25. Почему Пушкин в «Элегии» написал «Над вымыслом слезами обольюсь...»? Потому что реальность — это вымысел Бога. Поэтому Пригов написал «все что записано — на небесах записано». Мы живем в вымышленной реальности. В каком-то смысле мы все — вымышленные персонажи, а вымышленные персонажи художественных произведений — реальные люди. Так Даниил Андреев в «Розе мира» рассуждал о том, что Андрей Болконский — сын Толстого. Ну хорошо, Даниил Андреев был психически больным человеком. Но ведь и Пушкин писал, что Татьяна помимо его воли «выскочила замуж».

Таким образом, вымысел и реальность переплетены. В определенном смысле вымысел и реальность — это одно и то же. Это следует из мифологических корней нашего мышления, которое в древнейшие времена не различало вымысел и реальность. Там господствовало «всеобщее оборотничество» (А. Ф. Лосев). Все было во всем. Когда же разделились вымысел и реальность? Ответить можно определенно: когда мифологическое мышление отступило и на смену ему пришло мышление историческое. Что это означает в философском смысле? А то, что появилось линейное время. В линейном времени формально вымысел и реальность четко разделяются. Но это лишь идеальное положение вещей. Миф проникал в реальность и делал ее вымышленной.

«Единожды умер Христос», — восклицал Августин; но каждый год в неизменной череде Пасха сменяла Страстную Пятницу. Космическое круговращение времен года было поставлено рядом с неповторимостью событий «священной истории» <...> Снова человек мог ощущать себя внутри замкнутого священного круга, а не только на конечном узком пути, имеющем цель.

Все это имеет непосредственное отношение к тому, что бессознательное было раньше сознания. Первое соответствует мифологическому мышлению, второе — историческому. Когда у человека начинается психоз, на место сознания становится бессознательное, и мышление такого человека становится эквивалентным первобытному.

Это азбука психоанализа. А что не азбука? То, что показал в своей книге «Бессознательное как бесконечные множества» последний великий психоаналитик чилиец Игнасио Матте Бланко. Конечно, Матте Бланко не читал Лосева, но его положение о том, что в бессознательном все равно всему и все равно бесконечности, словно повторяет слова Лосева о всеобщем обротничестве в первобытном мышлении. В XX веке мифологическое сознание актуализировалось как реакция на позитивизм («реализм») века XIX-го. Эксплицитно это показал Е. М. Мелетинский в своей книге «Поэтика мифа». Что же характерно для неомифологизма? То, что бытовая реальность подсвечивает мифологической реальностью, то есть «вымыслом», и при этом этот «вымысел» становится более реальным, глубоким, как это происходит в «Мастере и Маргарите», где «мифологические события», связанные с романом Мастера о Пилате, обладают чертами высшей реальности, а московские события похожи на чистый вымысел. Все это упирается в проблему соотношения «текста» и «реальности». Но об этом нужно поговорить подробно.

26. *Тьмы низких истин мне дороже*

Нас возвышающий обман...

Оставь герою сердце... что же

Он будет без него? Тиран... (Пушкин)

Проблема соотношения реальности и истины упирается в определенном смысле в то, в какую реальность мы верим. Если мы верим в реальность которая «дана нам в ощущениях», тогда идея истины становится

основополагающей. Но я не верю в такую реальность. В какую же реальность я верю? В реальность, которая обозначена эффектом Хомского, в неповторимую реальность творческого акта и его результата, в «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Можно возразить, что и эта реальность дана нам в ощущениях. Но это не есть ее основополагающее свойство. Оно в другом — в интенциональности, то есть сопричастности бессознательному. Как «На холмах Грузии...» сопричастно моему бессознательному? Оно сопричастно моему коллективному бессознательному — «На холмах Грузии...» это архетип.

27. Существуют психопаты-органики, для которых «На холмах Грузии» — не текст, а бессмысленная реальность данная им в ощущениях:

Были мы в концертном зале,

Слушали Бетховена.

Только время потеряли —

Что, блядь, за хуевина!

Если мы вспомним, что органический характер — это, прежде всего, смесь истерика, циклоида-гипоманиака и эпилептоида, мы можем суммировать, что представляет Суперэго этих трех конституций. Суперэго эпилептоида, как мы помним, говорит: «Я должен, потому что иначе меня накажут». Суперэго истерика говорит: «Это мне все должны, а я никому не должен». А что такое Суперэго гипоманиака? Если депрессивное жесткое Суперэго, которое считает его плохим, говорит: «Ты

должен что-то делать, чтобы стать хорошим», то отрицающее депрессию слабое гипоманиакальное Суперэго говорит: «Я никому ничего не должен, потому что я и так хорош, и мне никто ничего не должен, потому все и так хороши». Что получится, если смешать эти три типа Суперэго? Эпилептоидный осколок органического Суперэго говорит, что он вроде бы что-то должен делать, потому что иначе его накажут, а скорее, чего-то не делать, например не преступать закон. Истерический осколок говорит, что не он ничего не должен, это, наоборот, ему все должны, а гипоманиакальный осколок говорит, что и он ничего не должен, и ему ничего не должны. В такой мешанине и живет органик. Что же он делает в результате? Он может, в принципе, не делать ничего особенного, жить мирной жизнью обывателя. Когда перевешивает гипоманиакальный осколок, он испытывает радость, когда перевешивает истерический осколок, он может срываться и закатывать грубые примитивные истерики, когда перевешивает эпилептоидный агрессивный осколок, он может совершать преступления. Так есть ли у него вообще Суперэго или нет? Он — человек, и у него не может не быть Суперэго, если модель Фрейда верна, а мы исходим из того, что она верна. Что же это за странное осколочное Суперэго, которое говорит непонятно что? Во многом оно такое же осколочное, как шизофреническое Суперэго, потому что как органический характер, как и шизофреническая конституция, представляет собой характерологическую мозаику. И, может быть, чтобы понять, что такое органическое Суперэго, следует поставить вопрос вначале, что такое шизофреническое

Суперэго. В принципе, у шизофреника могут быть осколки всех характеров и всех модальностей, но достаточно и двух: шизоидного и циклоидного. Причем циклоидный может быть как депрессивным, так и гипоманиакальным, поскольку шизофреник может быть и депрессивным, и гипоманиакальным. Разберем более характерный случай депрессивного шизофреника. Допустим для простоты, что у него имеется два радикала — шизоидный и депрессивный. Тогда шизоидное Суперэго говорит: «Я должен, потому что я должен (творить)». Депрессивное Суперэго говорит: «Я должен пытаться быть хорошим, потому что я очень плохой». Что получится, если совместить эти два суждения? «Я должен творить, чтобы стать хорошим». Получается, что депрессивный шизофреник творит для того, чтобы перестать быть плохим. Как это понять? Для этого надо сравнить чистого депрессивного циклоида и депрессивного шизофреника. Чистый депрессивный человек ощущает себя плохим. Как он решает эту проблему? Он ее никак не решает, он ждет, он, как Обломов, лежит на диване. Его жесткое Суперэго говорит ему, что он плохой, и с этим ничего не поделаешь. Совсем иное мы наблюдаем в случае депрессивного шизофреника, который переживает бессмысленность бытия. Что дает ощущение этой бессмысленности? В принципе, отсутствие смысла это депрессивная проблематика. Но шизофреник умеет с ней работать по-своему. Его шизоидный эпистемический радикал заставляет его в противовес безысходному депрессивному ощущению бессмысленности осмысливать эту бессмысленность. Вся творческая шизофрения — это,

в сущности, ментальная деятельность по осмыслению бессмысленного, осмыслению абсурда. Примерно так мне видится творчество великих шизофреников XX века — Кафки, Джойса как автора «Поминок по Финнегану», Сальвадора Дали, Антонена Арто, Даниила Хармса. У всякого человека должно быть шизо-, потому что всякий человек употребляет язык, в котором слова не похожи на вещи. Органики, как и всякие люди, употребляют слова. Значит шизо- у них есть, пусть и глубоко запрятанное, но оно должно быть. Всегда ли шизо- — это шизоидная модальность, то есть модальность эпистемическая и эпистемофилическая? Рассмотрим, какие модальности задействованы в органической мозаике. Это позитивная аксиология гипоманиака (Акс +), амбивалентная аксиология истерика (Акс ±) и деонтика эпилептоида (Д +). Место эпистемической модальности на уровне этих осколков у классического органика мы как будто не находим. Но, может быть, мы не там ищем. Органик не силен в том, что касается ментальной деятельности. Он силен в другом. Кто такой органик в своей повседневной деятельности, если он не социопат? Это работяга, труженик. У него могут быть золотые руки. То есть эпистемические навыки, как ни странно, можно искать в его теле. Он, как остроумно замечает П. В. Волков, не может объяснить, что такое электричество, но он может починить электроприбор, чего может не суметь сделать шизоид-интеллектуал, хотя такой же шизоид этот прибор некоторое время назад изобрел. Возможно ли телесное Суперэго, которое передается не криком пьяного отца, такого же органика, поскольку часто ор-

ганическая конституция передается по наследству, а от отца к сыну, минуя прямую вербальную инструкцию? Фрейд писал, что первоначальное эго было телесным. Можно предположить, что и бессознательное, а стало быть, и Суперэго, вначале было телесным. Наши предки, по всей видимости, в большинстве своем были органики, то есть шизо- в них было развито в слабой мере. Но это были люди. Они не знали письменности и традицию передавали от отца к сыну. Их эпистемическое наследие было устным. Это были обряд, сказка, былина, миф. Все это говорит о том, что раннее органическое Суперэго имело своеобразный характер, оно было не инновационным, а традициональным. Они были не производителями новой информации, а хранителями старой.

28. Как внешнее стечение обстоятельств становится внутренним значением? У. Бион говорил применительно к таким случаям, что происходит трансформация в О. О означает у Биона некую высшую точку в реальности, вещь в себе, Истину. Что такое трансформация в О? Это когда ничем не примечательное событие становится самым главным в жизни человека и определяет ее смысл на всю жизнь. О у Биона — это высшая истина, нечто вроде того, что мы вслед за Юнгом называем Самостью и вслед за Морисом Николлом — Царством Небесным в психологическом смысле. Высший смысл человеческой жизни это встреча с Христом. Как происходит встреча с Христом? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как происходит трансформация в О, а для этого необходимо исследовать вопрос об истине.

29. Христос сказал: «Аз есмь путь истина и живот» (Иоанн, 14:6). Когда Пилат задал Иисусу вопрос «Что есть истина?», Иисус ничего не ответил, потому что ответ был бы только один: «Я и есть истина». Морис Николл в книге «Новый человек» писал, что Иисус — это любовь, а Христос это истина. Как истина соотносится с любовью? Достоевский писал, что, если бы ему предложили на выбор остаться с истиной или с Иисусом, он выбрал бы Иисуса. Так **что** есть истина? Почему у них вообще зашел об этом разговор:

Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего (Иоанн, 18, 37).

В чем же состояла истина, о которой пришел свидетельствовать Иисус? «Я — путь, истина и жизнь». Почему эти три слова в ответе Иисуса апостолу Фоме поставлены рядом? Путь — это путь на Голгофу, путь к бессмертию, то есть к жизни. Но почему здесь истина? Потому, что когда Иисус говорил что-то, он знал о предстоящей ему смерти. Как Сын Человеческий Он не мог сомневаться, что воскреснет, но как человек, сын Марии и пасынок Иосифа Он не мог не сомневаться. Как Он мог сомневаться? Но Он же был человеком, и ничто человеческое ему было не чуждо. Он любил вино и еду, правда, почти не спал. Но Он не спал именно потому, что был человеком в гурджиевском смысле, а не спящей машиной, «работающей в сломанном режиме» (Делёз-Гваттари),

как большинство из нас. Именно человеческое в Иисусе заставляет так остро поставить вопрос об истине. Почему? Потому что обычный человек не знает, что такое истина. Он думает, что может отличить истинное от ложного, но он заблуждается. «Истина есть организующая форма человеческого опыта». Такое определение дал А. А. Богданов, один из первых философов-прагматистов. Что следует из такого понимания истины? То, что, в сущности, ее нет. Истинно то, что полезно считать истинным (прагматизм). А русский народ говорит: «Все полезно, что в рот полезло». Значит, истина — это все, что угодно. Но важно *не отравиться* истиной, когда отправляешь ее в рот. Обычно люди считают, что они отравляются ложью. Но это не так. Отравляются истиной, убивает истина. Морис Друри, ученик Витгенштейна, в 1972 году издал книгу «Опасность слов». В ней он изложил свой опыт психиатра. Он стал психиатром по совету Витгенштейна, который, как и всем своим ученикам, рекомендовал ему уйти из философии. В чем же опасность слов?

30. Был такой советский поэт Вадим Шефнер, который написал строки:

Словом можно убить. Словом можно спасти.

Словом можно полки за собой повести.

Конечно, не словом, а предложением, или, скорее, даже речевым актом. Слово само по себе безопасно, так как слово не существует вне предложения. Это предложения

и речевые акты убивают. «Я сейчас тебя убью!» Нет, не таким речевым актом. Это просто театральный жест. А как? — Смотри, вон твоя смерть! Где-где? — Да вон там, видишь, стоит с косой. И человек видит свою смерть и умирает. Истина есть организующая форма человеческого опыта. Как истина организует опыт? Кто организует наш опыт? Вожди. Что делают вожди? Они посылают нас на смерть. Истина это организующая форма человеческой смерти.

31. Как связан вопрос об истине с принципом предопределенности и с жизнью против жизни в параллельных мирах? Семантика возможных миров постулировала модельную тройку, маркированный член которой назывался действительным миром. Я думаю, Хинтикка и Крипке не до конца поняли Лейбница, во всяком случае, не так, как его понял Делёз. Я имею в виду его «Лекции о Лейбнице». Что же понял Делёз у Лейбница, чего не захотели понять его (Делёза) современники, аналитические философы? Делёз понял следующее: **все** миры — действительные. Лейбниц обосновал путем хитрых доказательств, что все миры действительные. Лейбниц считал, что Бог создал лучший из миров. В чем его лучшесть? В том, что его можно повернуть так, а можно этак. Все миры **совозможны**, кроме тех, которые Хинтикка назвал «невозможными возможными мирами». Истина — это истина во всех действительных совозможных мирах. В этом смысле лжи вообще не существует. Как может существовать ложь, если все миры — действительные. То, что является ложью

в одном мире, является истиной в другом, параллельном мире. Здесь возникает особая проблема, связанная с принципом предопределенности. Она заключается в том, что *все-сразу-истина* возможна только тогда, когда мы смотрим на мир или миры, так сказать, с высоты птичьего полета. Когда мы смотрим на них так, как на них смотрит Бог. И тогда все истинно. И нет места лжи. Потому что ложь есть лишь порождение нашего сознания, мы лжем лишь потому, что наше сознание лжет. Бессознательное не может лгать и обманывать. В нем просто для этого нет места. Фрейд утверждал, что бессознательное никогда не говорит «нет». Да — соответствует истинности, нет — соответствует ложности. — Ты сегодня обедал? — Нет. — А вот и неправда, обедал. И действительно, он пообедал на работе. Как она догадалась, что он пообедал? Она заглянула в его параллельный мир и «увидела», как он обедал. Жизнь против жизни — это «жизнь не по лжи». Когда человек живет против жизни, накапливая духовный опыт, то все вокруг озаряется светом истины. «Я видел истину!» — восклицал герой рассказа Достоевского «Сон смешного человека». Как можно *увидеть* истину? Ведь истина — это просто один из двух денотатов предложения, по Фреге. Увидеть истину можно только в мистическом озарении, когда противопоставление истинного и ложного элиминируется. Почему оно элиминируется? Потому что природа истины такова, что ее нельзя увидеть простыми глазами. Что значит «простыми глазами»? Это значит такими глазами, которыми мы обычно смотрим на мир. Мы видим стол, зеркало,

лампу, телевизор, компьютер, видеомagnetofон. Мы видим странные переходные объекты. Что такое странные переходные объекты? Это такие объекты, которые на нас воздействуют (в этом их странность, по Биону), и такие объекты, которые являются медиаторами между нашим телом и реальностью (в этом их переходность, по Винникоту). Когда объект является одновременно странным и переходным, он создает иллюзию истины. Вот я смотрю телевизор, он воздействует на меня, поэтому он является странным объектом. И он является медиатором между мной и реальностью, поэтому он является переходным объектом. Телевизор — это странный переходный объект, переполненный ложью. Я даже не имею в виду пропаганду лжи по ТВ. Я говорю о другом. Допустим, я смотрю прекрасный художественный фильм по ТВ, например, «Зеркало». В нем всё — истина и всё — иллюзия истины. Потому что коллаж документальных и игровых кадров и эпизодов создает особый эффект, который порождает видимость истины там, где ее нет и не может быть. Мы видим, как мальчик Игнат читает письмо Пушкина Чаадаеву, подключаясь к коллективному бессознательному. Но истины здесь никакой нет. Это иллюзия, *провал в истину*. Что значит провал в истину? Когда Вера Павловна в романе Чернышевского «Что делать?» видела свой первый сон, она как бы провалилась в провал истины своего бессознательного, где были какие-то увечные старухи, которых она выводила на свет Божий. Почему мы это называем провалом в истину? Поговорим об этом в следующем параграфе.

32. Провал в истину — это такое положение вещей, когда человек говорит: «Я все знаю!» Он проваливается в «истину», как в глубокий сукцессивный колодец, откуда его можно поднять только путем симультанных приспособлений. Что это за симультанные приспособления? Ну как человека вытаскивают из колодца? Ему протягивают веревку. В фильме Хичкока «Веревка» два молодых человека решили убить третьего. Они его задушили веревкой, а труп положили в стол гостиной и завалили книгами. Собрались гости. Они не подозревали, куда делся убитый, который тоже должен был прийти, пока один самый умный гость не догадался, что дело в веревке. Кажется, что веревка сукцессивна и она действительно сукцессивна, и при помощи веревки невозможно вытащить человека, провалившегося в истину, из колодца. Его вообще невозможно оттуда вытащить. Сидя в колодце сукцессивной истины, человек воображает параллельные миры: вот его вытащили, вот он видит свою жену, вот он читает любимые книги. Это и есть симультанные приспособления. Как же человеку выбраться из провала в истину? Надо перестать думать, что он все знает. Ничего он не знает. Мы вообще ничего не знаем. Такую позицию можно назвать гиперагностицизмом. Будем считать, что реальность в традиционном понимании этого слова есть совокупность интенционалов всех истинных пропозиций типа витгенштейновского «Дело обстоит так-то и так-то». Тогда можно считать фрагментами реальности значение (интенционал) пропозиции «Камень лежит на дороге», «Я иду по улице», «Алексей Герман снял фильм "Хрусталеv, машину!"»

и т. д. В том случае, когда они истинны. Но при таком понимании реальности сразу возникает много проблем. Что, в сущности, означает, что данные пропозиции истинны? Это значит, что они соответствуют реальности, то есть, как мы определили, своему интенционалу. Другими словами, получается, что интенционал пропозиции существует в реальности, то есть камень лежит на дороге и т. д. тогда и только тогда, когда это «соответствует реальности», то есть тому факту, когда камень действительно лежит на дороге. Нелепость этого определения очевидна. Вторая трудность, связанная с первой, состоит в том, что мы говорим о реальности как об интенционале пропозиции, то есть как о ее смысле (во фрегевском понимании этого слова), а не как об экстенционале, так как, по Фреге, экстенционалом (денотатом) пропозиции является не реальность, а истинность (или ложность). Получается, что реальность, это нечто интенциональное, то есть нечто такое, применительно к чему не работают понятия истинного и ложного. То есть получается, что реальность ни истинна, ни ложна, то есть ни соответствует, ни не соответствует... реальности. И наша пропозиция «Камень лежит на дороге» ни истинна, ни ложна. Как это понять? Мы хотим этой пропозицией сказать «Истинно, что камень лежит на дороге». То есть тем самым на уровне логического анализа переводим содержание этой и любой другой пропозиции в косвенный контекст, лишенный, по Фреге, значений истинности. То есть фактически мы говорим «Истинно, что пропозиция «Камень лежит на дороге», не является ни истинной, ни ложной». То есть либо

реальность это что-то другое, чем тот факт, что камень лежит на дороге, либо она является этим фактом, но не верифицируема, не является ни истинной, ни ложной. Но если реальность ни истинна, ни ложна, то это полностью разрушает нашу онтологию, потому что тогда понятия истинного и ложного становятся бессмысленными и вообще не существуют, потому что истинное и ложное в принципе необходимы лишь для описания реальности и ни для чего больше. Попробуем разобраться в этом парадоксе не логическим путем, а с точки зрения философии обыденного языка. Когда, при каких обстоятельствах кто-то может сказать или констатировать: «Камень лежит на дороге»? Допустим, два приятеля едут в поезде, и один из них смотрит в окно и говорит другому: «Камень лежит на дороге». Другой ему отвечает: «Ну и что здесь такого? Лежит и лежит». Возьмем другой пример. Два приятеля едут в машине, и тот, кто ведет машину, говорит другому, сидящему с ним рядом: «Камень лежит на дороге». Тогда другой ему отвечает: «А мы можем его объехать?» Первый пример неудачен именно тем, что он демонстрирует бессмысленность истины. Ну лежит камень на дороге и ладно. Зачем об этом говорить! Второй пример интересен тем, что истина там понимается в прагматическом смысле. Камень лежит на дороге, он является препятствием, и его необходимо объехать. Зачем вообще пассажир в первом примере сказал другому про камень, лежащий на дороге, непонятно. Но просто так, ни за чем ничего не говорят. Если он сказал, значит, ему это было зачем-то нужно. Но вопрос состоит в том, хотел ли

он словами «камень лежит на дороге сказать: «Истинно, что камень лежит на дороге»? Нет, потому что это бессмысленно. Он мог иметь в виду: «Какой необычный камень лежит на дороге!» Тогда бы имело смысл привлечение внимания соседа. Но это не означало бы: «Истинно, что необычный камень лежит на дороге», но, скорее, означало бы: «Смотри, какой необычный камень лежит на дороге!», то есть опять имел бы место перевод пропозиции в косвенный контекст. В сущности, если верна перформативная гипотеза, прямых контекстов вообще не существует. Когда мы говорим: «Истинно, что А», мы подразумеваем: «Я утверждаю, что истинно, что А», и тем самым «истинно» переводится в косвенный контекст. Но и в этом случае «Я утверждаю» не верифицируемо, так как предполагает оператор «Истинно, что я утверждаю», и так до бесконечности. Таким образом, получается, что реальность не живет в пространстве истинного и ложного и что, более того, понятия истинного и ложного вообще неизвестно для чего нужны, если они ничего не описывают. Как же тогда мы ориентируемся в реальности, если ничего истинного или ложного не существует?

33. Мне дело представляется примерно таким образом. У нас есть то, что мы называем нашей психикой, которая каким-то образом выработала нечто, что мы называем реальностью для того, чтобы как-то ориентироваться в мире вещей и фактов. В первобытные времена это было невозможно, потому что психика была по-другому устроена, в частности, не могла оперировать

понятиями истинного и ложного и не могла порождать правильные с нашей точки зрения пропозиции, описывающие то, что мы называем реальностью. По реконструкции антропологов и лингвистов там был инкорпорирующий строй. Не «Охотник убил оленя», а нечто вроде «охотнико-олене-убивание» (пример А. Ф. Лосева), и вопрос о соотношении высказывания и реальности не возникал, потому что высказывание и было реальностью. Человек не различал внутреннее и внешнее, я и не-я, субъект и объект. Когда же он стал все это различать, появилось современное высказывание в номинативном строе, а вместе с ним и понятие реальности, которую оно было призвано описывать. То есть понимание того, что такое реальность — во-первых, исторически очень позднее явление, а, во-вторых, очень условное, искусственное и фальшивое.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном... — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, сказал я, — у меня кроме этого есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

34. Но на самом деле мы ничего не знаем о смерти. Мы вообще ничего не знаем. С этой формой агностицизма, которую можно назвать гипергностицизмом,

мы будем работать. Прежде всего, это утверждение ведет к парадоксу. В соответствии с универсальным эпистемическим парадоксом, если я говорю «Мы ничего не знаем», то тем самым мы не знаем значений всех высказываний (всех языков), а, стало быть, также не знаем значения высказывания «Мы это знаем», что противоречиво. На самом деле противоречие мнимое. Если «реальность», как мы показали выше, не есть значение высказывания (а лишь его интенционал), то предложение «Я знаю это» (как и любое другое) лишается значений истинности, то есть является бессмысленным. А в этом случае о знании говорить вообще не приходится. Знание — такая же искусственная вещь, как и истина. Но знание — модальность, а модальность отличается от пропозициональности, то есть той формы говорения, которая (якобы) оперирует понятиями истины и лжи своей нетотальностью, поэтому с ней можно работать. Моя позиция по отношению к реальности отличалась от всех других философских позиций следующим. Все, кто обсуждал проблему реальности в плане того, что видимой реальности не существует, писали примерно так: «Мы не знаем, что такое подлинная реальность. Реальность — это не то, что мы видим, слышим и т. д., но она в принципе есть». Это позиция буддизма, Платона, Канта и их последователей вплоть до Ф. Брэдли, а также раннего П. Д. Успенского. Примерно той же позиции придерживался я в книге «Введение в шизореальность». В «Новой модели шизофрении» я утверждал, что нет никакой реальности вообще, что за видимой «реальностью» не стоит никакой подлинной реальности.

Это позиция, близкая «нигилологии» Парменида. Развивая это учение, мы ввели понятие галлюцинирующей галлюцинации, где галлюцинант является сам галлюцинацией (а сновидящий сам является сновидением). Но такая позиция понятна на уровне терминальной мегаломании или, наоборот, «первичного нарциссизма», то есть конца и начала «болезни»-жизни. А как эту идею понять, скажем, на уровне бреда воздействия? На меня галлюцинантно воздействует странный объект. Что он такое? Моя проекция (экстраекция)? Но откуда она взялась, если я сам не существую, если я сам являюсь галлюцинацией и если вообще по большому счету нет ничего? Это пока непонятно.

35. Нынешняя позиция — позиция гиперрагностицизма — заключается не в отрицании реальности, а в том, что мы ничего не знаем, в том числе мы не знаем, есть реальность или нет (и вполне может оказаться, что она есть). Можно обосновать, что мы действительно ничего не знаем наверняка. Можно даже оспорить тезис позднего Витгенштейна («О достоверности»), что абсолютно достоверным знанием является мое знание о том, что меня зовут Вадим Руднев. Я хочу подчеркнуть, что отличительной особенностью всех философских направлений было, что они либо вообще не принимали в расчет данные психопатологии, либо оставляли ей неподобающе скромное место. Здесь перелом был совершен (даже не Фрейдом) Лаканом с его тезисом, что норма есть лишь хорошо компенсированный психоз, или в нашей формулировке, что безумие более

фундаментально, чем норма. Итак, если безумие более фундаментально и даже первично (достаточно вспомнить о параноидно-шизоидной позиции Мелани Кляйн), если ребенок первоначально мегаломан, как отмечал уже Блейлер в «Аутистическом мышлении», то тогда эта младенческая или старческая (при прогрессивном параличе, шизофреническом бреде величия или Альцгеймере) галлюцинирующая галлюцинация может не разделять мнения, что «меня зовут Вадим Руднев». Известно также, что при легкой шизофренической деперсонализации человек порой сомневается в том, что он тот, кто он есть, а не кто-то другой, неизвестно кто. В этом случае ему приходится убеждать себя, что он — именно он. Здесь полезным бывает психотерапевтический совет повторить несколько раз вслух свое имя и фамилию.

36. Можно ли сказать, что эти примеры маргинальны, что в подавляющем большинстве случаев человек знает, как его зовут? Как вас зовут? — Макс Отто фон Штирлиц. Это ни истина, ни ложь, просто в другой «реальности» его зовут М. М. Исаев. В определенном смысле это два разных человека или же две социально диссоциированных субличности. А еще менее маргинальный пример. Допустим, я не сомневаюсь, что меня зовут Вадим Руднев и что я профессор, что в молодости я учился у Ю. М. Лотмана и т. д. Не напоминает ли это что-то знакомое?

Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал

жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился.

В принципе, сюда надо еще третьим добавить Иисуса Христа. «Мы все одержимы Господом», — сказал Ван Хельсинг в фильме «Дракула» Копполы. Кстати, оценили кто-нибудь замечательную кощунственную амбивалентность этой фразы? Иисус инкорпорируется в тело гонителей вампиров (= бесов) подобно тому, как Иисус инкорпорировал бесов в свиней. Внутреннее и внешнее меняются местами. Я думаю, инкорпорация (= интроекция) — это чрезвычайно архаическое тотемное представление, которое лежит в основе обряда Евхаристии, заповеданной Иисусом на Тайной Вечери.

И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. (Марк, 14:22–24).

Я думаю, что если придерживаться эзотерической версии Нового Завета, то кровь — это, безусловно, истина (Христос) и плоть — это, скорее всего, любовь (Иисус). Но, конечно, понимаемая буквально эвхаристия — это рецепция ритуала жертвенного поедания тотема (рассуждение в духе наивных мифологистов и Михаила Александровича Берлиоза). С другой стороны, инкорпорация-интроекция — это универсальный механизм защиты при депрессивном психозе и бреде воздействия

при шизофрении. Стоит подумать об этом в связи с теми случаями, когда в больных людей вселяются другие люди или демоны при бреде воздействия. Но это, как любила говорить О. М. Фрейденберг, только кстати. Христос — символ Самости и индивидуации. «Одержим Господом» я стал в сентябре 2011 года, когда писал книгу про Иисуса Христа. В сущности, для меня Иисус (в данном случае именно Иисус как олицетворение Любви, а не Христос как олицетворение Истины, которую мы (возможно, временно) отвергли), Людвиг ван Бетховен и Людвиг фон Витгенштейн — это не просто субличности, а некие варианты одного Героя, одной Самости. Кстати, и Витгенштейна и Бетховена сравнивали с Христом. Я хочу подчеркнуть, что для нас важно оставаться на позиции философии обыденного языка и не вдаваться по возможности в мистику и особенно в магию. Но такие слова, как карма и перевоплощение, *могут* быть «терминами» философии обыденного языка, как я показал, например, в книге «Новая модель бессознательного», где Фреге представлен как кармическая ипостась Витгенштейна. (Надо только при этом сохранять чувство юмора, и тогда «мистика» не уведет в шарлатанство.) Здесь уместно поговорить о законе Матте Бланко, в соответствии с которым на уровне бессознательного все равно всему. Игнасио Матте Бланко — чилийский психоналист, в конце 1970-х годов написавший книгу «Бессознательное как бесконечные множества», основной тезис которой состоит в том, что в бессознательном господствует «симметричная логика», в соответствии с которой a равно не a , и равно b , и равно c , и равно x , y и z .

Я подробно пишу о Матте Бланко и его взглядах, развивая их, в книге «Новая модель времени». Бессознательное в определенном смысле — эквивалент мифологического «сознания», где, по «закону А. Ф. Лосева», также все равно всему. Так в сновидении человек может одновременно быть и Христом, и Бетховеном, и Витгенштейном и круглым квадратом.

37. В «Новой модели шизофрении» я говорил, что этого ничего не существует. В духе гипергностицизма я могу сказать только, что знать что-то точно невозможно. Но я ведь *сиду* на стуле и *набираю* на компьютере. Но почему, когда мы философствуем, мы традиционно забываем о фундаментальности психопатологии? Декарт в «Медитациях» сомневался в том, спит он или бодрствует. Сомневаюсь ли я, то есть имею ли я, так сказать, метафизическое право сомневаться в том, *сиду* ли я на стуле. Почему же, черт возьми, я на самом деле не сомневаюсь, что я *сиду* на стуле! Какое право я имею не сомневаться в этом! Философ ли я или тварь дрожащая? Хорошо, я оглянулся вокруг себя и обнаружил, что *сиду* не на стуле, а в компьютерном кресле. Но это уловка. Хорошо, я беру карандаш и говорю себе: я сейчас только что взял карандаш. Можно ли в этом сомневаться? Можно. Хотя бы потому, что я его взял «понарошку», чтобы доказать себе, что я его не брал. Так можно деконструировать каждый фрагмент реальности. Таким образом, дело не в том, существовал ли Лотман с его усами и коричневым замшевым пиджаком или не существовал. Важно наше метафизическое право в этом

сомневаться, наша *потребность* в мифообразовании. Когда Фрейд придумывал Эдипов комплекс, он написал в «Тотеме и табу» знаменитую скандальную фразу о том, что в первобытной орде сыновья съели отца. Ну хорошо, а Хайдеггер писал, что, да, действительно, Бог умер, и это мы убили его. Неужели Фрейд и Хайдеггер были идиоты? Нет. А вот Ницше был идиот. Я имею в виду анекдот о том, как к нему подошла дама и говорит, что вот, г-н Ницше, вы писали «Ты идешь к женщине — возьми с собой плетку», как это понимать? Ницше смутился и промямлил, что, мол, это была метафора. Ну, как сказать, и метафора, и не метафора. Я бы на месте Ницше дал бы этой даме в зубы, чтобы не задавала глупых вопросов. Слово «идиот» я употребляю так, как его употребляли Делёз и Гваттари в книге «Что такое философия?» Всякий философ в этом смысле должен быть идиотом, своим собственным концептуальным персонажем. Вот, например, Лотман. Лотман — это не только миф и тотем, который умер, потому что мы съели и убили, но и архетип. Когда человек говорит «Я все знаю», он впадает в универсальный эпистемический парадокс. Что значит я все знаю? Это означает, что я знаю значение всех предложений. Тем самым я знаю значение предложения «Я этого не знаю». Следовательно, я не *всё* знаю. Но люди очень любят проваливаться в истину.

А бойтесь единственно только того,

Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Кто скажет: «Идите, люди, за мной,

Я вас научу, как надо!»... (Александр Галич)

Никто не знает, как надо, и никогда не узнает. Мы можем только ходить по краю Истины, истины с большой буквы, которую Бион назвал *О* и которая *в принципе* непознаваема, потому что она является вещью в себе, ноуменом. Мы можем знать только феномены. Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят. Грош цена таким истинам. Почему же люди так любят провал в истину? Потому что так легче жить. Провал в истину — это синоним жизни по жизни. Трансформация в *О* — это синоним жизни против жизни. Человек, который провалился в истину, никогда не поймет принципа предопределенности. Сидя в колодце, он будет не в состоянии «осознать», что все миры действительны. Для него действителен только тот мир, в котором он попал в колодец да еще, может быть, к тому же и сломал ногу. Других миров просто для него не существует. Но когда его вытащат, он полежит в больнице ногой вверх, он, может быть, и поймет, что есть другие миры. Но люди все равно стараются укрепить свой истинностный провал, «чтобы он не слишком проваливался», как говорил Остап Бендер в «Двенадцати стульях». Люди не умеют сомневаться. Достоевский сомневался, с кем ему оставаться, с Истиной или с Иисусом, и наконец выбрал Иисуса. Но в определенном смысле Христос — вне истины. Он вне провала в истину. Да, он все время твердил «истинно-истинно говорю», что он Сын Божий. Но он это говорил для народа. Для избранных, а первым избранным был, по все видимости, апостол Павел, очень хитрый, и, по-моему, неискренний человек, который понимал, как мне кажется, что Христос — это просто Великий Учитель,

а не какой не Сын Божий (мы все дети Божьи). Ведь именно ему христианство заняло такую всемирную позицию: «Несть эллин, и несть иудей» — это его слова. А что ему еще оставалось делать. Но я хочу подчеркнуть, что двенадцать ловцов человеков, простых рыбаков, конечно, находились по отношению к Христу в состоянии провала в истину. «Симон Ионин, любишь ли ты Меня? <...> Паси овец Моих» (Иоанн, гл. 21 ст. 15). Как они ссорились из-за того, где кто будет сидеть возле Иисуса, когда Он воскреснет. Матерь Божья была поумнее, осадила их. Но она тоже каноническая святая. А святой, **подлинный** святой, он всегда находился в сомнении. Не относительно того, есть Бог или нет. Здесь у него сомнений не было, так как у него произошла трансформация в **О**. Он сомневался в истине с маленькой буквы, он не хотел в нее проваливаться. Поэтому его всегда искушал дьявол. Потому что истина с маленькой буквы и ложь — это одно и то же. Об этом пронизательно говорил Мераб Мамардашвили: «я же сказал, что слова у лжи и истины одинаковые, одни и те же».

38. Тот факт, что истина с маленькой буквы и ложь порой неразличимы, вовсе не означает, что надо все время врать. «Истина где-то рядом» — девиз сериала «X-files» про специальных агентов Фокса Малдера и Дану Скалли. Они ищут истину «со средней буквы». Это истина Среднего пути буддизма махаяны. Средний, или восьмеричный, путь предполагал восемь правильных поступков. Руководствуясь которыми человек мог в конце концов попасть в нирвану, то есть избежать

перерождений, колеса Сансары. Почему так важно избежать колеса Сансары? Потому что это колесо истины и лжи. Истина со средней буквы — это такая истина, которую ищут люди, живущие жизнью против жизни в широком смысле. Малдер и Скалли не практиковали Работы в духе Четвертого пути, но её влияния все-таки немного каснулись. Они были связаны с космосом, с *духовным* космосом. Что значит, что истина где-то рядом? Это значит, что Малдер и Скалли любили друг друга, но не признавались себе в этом. Вместо этого они искали истину со средней буквы. Так вот о буддизме. Если человек правильно говорит, правильно думает, ведет правильный образ жизни, правильно ест, правильно испражняется — это уже дзен-буддизм, — то у него будет чистая карма. А что значит делать все правильно? Это значит в том числе не врать и не злословить, потому что это хула на Святого Духа. Вранье разрушает принцип предопределенности. Вранье разрушает космос. Это понимал Кант, который в полемике с Бенжаменом Констаном настаивал, что если у тебя дома находится человек, которого разыскивает полиция, то когда в дом врывается полиция в поисках этого человека, то солгать, что его здесь нет и тем самым, возможно, спасти его, с метафизической точки зрения очень плохо, потому что это приведет к умножению лжи в космосе. Вот какой был жесткий старик этот Иммануил Кант. Я вспоминаю также ужасный фильм (ужасный в смысле высказывающий ужасную истину) Золтана Фабри «Пятая печать». Эсесовцы схватили нескольких случайных ни в чем не повинных людей и заставили их давать

пощечину повешенному фактически на кресте окровавленному партизану, обещая в этом случае отпустить их. Никто кроме главного героя не выдержал этого невыносимого испытания — дать пощечину Христу. Главный герой сделал это, и его отпустили. Он сделал это потому, что в его доме были спрятаны еврейские дети, и он не мог рисковать своей жизнью. Так вот к вопросу о вранье. Жизнь против жизни в узком смысле, конечно, исключает вранье, но она не исключает хитрости и обмана. В воспоминаниях о Гурджиеве часто читаешь о том, как он притворялся, хитрил и обманывал простых собеседников. Существует такое выражение — *pius fraus* — ложь во спасение. Никого, конечно, спасти с помощью лжи невозможно, спасти в евангельском смысле. В Евангелиях все время говорится о Спасении, Спасении с большой буквы. Что такое Спасение с точки зрения эзотерического христианства? Это значит при помощи метанойи («покаяния») достичь Царствия Небесного. Царствие Небесное и ложь несовместимы. Что такое Царствие Небесное? Это высшее духовное состояние человека, это его полное бессознательное, которое, в сущности, как мы уже писали, есть Бог. Может ли Бог лгать? Вопрос этот звучит кощунственно. Тем не менее Бог *может* лгать по той простой причине, что он может *всё*. А раз Он может все, стало быть, Он может и лгать, но в модальном смысле, то есть он *в состоянии* это делать. Но, конечно, Бог никогда не лжет. Бог просто не понимает, что такое ложь. Ведь Он сотворил Себя из Себя Самого, «ужавшись» для этого в своем бесконечном Божественном пространстве. В каббалистической

мистике существует такое понятие. Бог «подвинулся», чтобы освободить место для истины. Иначе никакой истины не было бы. Иначе и нас не было бы, потому что, если бы не *цимцум*, то Бог так и пребывал бы в Одиночестве. Но Бог не может пребывать в одиночестве, ему нужны люди для того, чтобы продолжить Творение с их помощью. Во всяком случае, так считает философская антропология. Бердяев, например. А чему учит нарративная онтология? Она считает, что истина и ложь — ненужные и вредные понятия.

39. Как связана нарративная онтология с принципом предопределенности и жизнью против жизни в параллельных мирах? Нарративная онтология разработана нами в книге «Новая модель реальности». Основной ее постулат заключается в том, что истина и ложь не играют в реальности никакой роли, потому что они иллюзорны. Как мы это обосновываем? С помощью перформативной гипотезы, в соответствии с которой всякое высказывание есть скрытый перформатив, то есть не имеет логической валентности (по терминологии Р. Карнапа) или истинностного значения (по терминологии Г. Фреге). Что из этого следует? Из этого следует, что истина и ложь суть ярлыки, которые мы навешиваем на реальность для того, чтобы нам легче жилось. Что касается принципа предопределенности, то с ним все сложнее. Поскольку все миры действительны (Лейбниц в интерпретации Делёза), значит, они все истинны. Но это тоже иллюзия. Что такое *действительный мир*? Это лишь фантом нашего сознания (Менский).

Существует множество действительных миров (Лейбниц в нашей интерпретации). А что значит *множество* действительных миров? Это значит, что Бог создал коллективное бессознательное и при помощи *цимцума* привязал его к индивидуальному бессознательному каждого человека. В результате образовалось полное бессознательное, которое не знает ни истины, ни лжи. Что касается жизни против жизни в параллельных мирах, то, как мы уже писали выше, в новой модели реальности (нарративной онтологии), технически построенной нами как движущейся в противоположные стороны Ленты Мебиуса, это противоположное движение: в сторону увеличения энтропии и в сторону увеличения информации — и есть модель движения жизни по жизни и жизни против жизни в параллельных мирах. Ведь существует бесконечное множество ленты Мебиуса, бесконечное множество реальностей, параллельных миров, в которых мы, согласно принципу Эверетта-Менского, живем. Что же касается нарративной онтологии, то нарративная, понимаемая нами предельно широко в духе книги Ольги Фрейденберг «Образ и понятие» [7], отвечает на два фундаментальных для нее вопроса: что будет дальше и чем кончатся? Что будет дальше с темой истины и чем кончатся наши рассуждения о новой модели реальности? Можно сказать так: все всегда кончается одним и тем же — смертью. Нет! в параллельных мирах нет никакой смерти. Человек умирает в одном мире и рождается в другом. «Мы рождаемся и умираем каждую минуту». Что это значит? Что такое смерть? Это временное «прекращение мышления» (определение, данное

А. М. Пятигорским). А что значит прекращение мышления по Биону? Это непретерпевание фрустрации. Когда мы умираем, мы перестаем претерпевать фрустрацию в одном мире, но мы преодолеваем ее в другом мире. В другом параллельном мире в тот момент, когда я умираю, кто-то рождается и начинает думать, мыслить, то есть жить. В этом и состоит сущность принципа «Мы рождаемся и умираем каждую минуту». Что касается принципа предопределенности, то есть принципа всё сразу, то он связан с идеей нерелевантности идей истины и лжи очень простым образом. Когда есть всё сразу, то есть и истина, и ложь. Мы что-то говорим, но мы говорим одновременно и истину, и ложь. Но так не бывает. Вернее, так бывает в многозначных логиках, например в четырехзначной логике фон Вригта. «Дождь то ли идет, то ли не идет», «Дождь и идет, и не идет». Что это значит? Это значит: что будет дальше и чем кончится? Дождь рано или поздно кончится, а что касается того, что будет дальше, то нам всегда предоставлен выбор (вернее, иллюзия выбора, потому что, в соответствии с принципом Эверетта-Менского, всё происходит симультанно и никакого выбора нет: в параллельных мирах мы идем одновременно направо и налево), брать зонтик или нет, гулять с мокрой головой, остаться дома и читать книжку и так далее. Наши возможности в этом смысле ограничены лишь нашей доброй волей, которая, тоже, конечно предопределена.

Два уровня реальности

1. Существует два уровня реальности. Первая, эмпирическая, «дана нам в ощущениях». Это низший тип реальности, кажимость, *appareance*. Высший тип реальности — это трансгредиентная реальность. Здесь нам надо вернуться к самому началу книги, к тому положению Лакана, согласно которому значение всегда отсылает к другому значению. Этот постулат Лакана касается в первую очередь высшей реальности. Почему? Потому что низшая эмпирическая реальность осуществляет референцию от значения к денотату, в то время как высшая реальность, реальность смысла, пренебрегает денотатами. Как можно пренебрегать денотатами? Возьмем первоначальный наивный эмпирический психоанализ. Там постулировалось, что надо всего лишь вспомнить травму, и тогда «все пройдет», то есть апелляция имела место к низшей реальности. Зрелый психоанализ Мелани Кляйн и Лакана поступал по-другому. Он исходил из того, что субъект в принципе психотичен и излечить его невозможно. Травма инкорпорирована в субъект. Она не имеет денотативного характера. В чем смысл травмы по Мелани Кляйн и Лакану? В том, что она всегда в наличии, что ее не выдернуть из субъекта, надо просто примирить субъект с травмой.

2. В высшей реальности денотатов не существует. Существуют только различные лабиринты смыслов и значе-

ний, которые всегда отсылают одно к другому — ведь именно на этом построен метод свободных ассоциаций в психоанализе. Зрелый психоанализ не говорит, как это утверждал Фрейд: работай и занимайся любовью — и ты здоров! Мелани Кляйн и Лакан говорят другое: что бы ты ни делал — работал, занимался любовью, рубил дрова, — ты все равно останешься больным. **Главное приспособить свою болезнь к любви и работе.** Это один из тезисов, важных для понимания того, что такое высший уровень реальности.

3. Значение отсылает к другому значению. Ну и что? А то, что если бы значение отсылало к референту, а не к другому значению, то это было бы уже не значение. Почему? Потому что наррация — это всегда агон. Наррация — это не рассказ о чем-то существующем или не существующем. Наррация — это **как** и не **что**.

4. Для Лакана психоз — гораздо более фундаментальное явление, чем норма. Можно добавить, опираясь на Лакана, что высшая трансгredientная реальность психотична. Это **подлинный бред**, лишенный условностей **согласованного бреда** (термины из моей книги «Логика бреда»), в котором мы живем в повседневности. Понаблюдайте, говорит Лакан, за поведением параноика, и вы увидите, что он ведет себя так же, как мы в нашей обыденной жизни. Предельное выражение подлинного бреда это когда значение отсылает к самому себе, образуя гиперзначение. Так Лакан характеризует **чудо воя** Даниэля Шрёбера.

Представьте себе речь, соединенную с голосовой функцией, абсолютно лишенной значения, но содержащую в себе в то же время все значения, какие только возможны (Лакан 2014:186).

Это напоминает определение совести, или сознательности, данное Гурджиевым:

Сознательность, — говорил Гурджиев, — является таким состоянием человека, когда он **чувствует все одновременно, все, что он в действительности ощущает и просто вообще может ощущать**. Вместе с тем, поскольку в каждом человеке роятся тысячи противоположных чувств, начиная с глубоко запрятанного понимания собственной ничтожности и разного рода страхов и заканчивая наиболее абсурдными чувствами самолюбия, самоуверенности, самоудовлетворения и самовосхваления, чувствовать все это сразу не просто болезненно, но в буквальном смысле невыносимо. Если бы человек, чей внутренний мир состоит из противоречий, вдруг ощутил бы все эти противоречия одновременно внутри себя, если бы он вдруг почувствовал, что он любит все, что ненавидит, и ненавидит все, что любит; обманывает, когда говорит правду, и говорит правду, когда обманывает, и если бы он мог почувствовать позор и ужас всего этого, то такое состояние можно было бы назвать «сознательностью».

5. Георгий Чернавин задал мне в письме следующий вопрос: как я понимаю сосуществование этих двух реальностей, как «двойную бухгалтерию» или как взаимопроникновение? Я ответил, что, конечно, второе. Так Лакан говорил, что реальность буквально заражена означающим. А Бион писал о двух частях личности, психотической и непсихотической. Даже грубые органики способны на любовь и самопожертвование. Что уж говорить об утонченных шизоидах. Ведь это они отрицают реальность. Тем хуже для действительности, сказал Гегель, когда ему заметили, что некоторые положения его философии не соответствуют действительности.

6. Лакан также говорил в семинаре по психозам следующее:

Свойство межсубъективного измерения состоит в том, что в реальности имеется субъект, способный пользоваться означающим как таковым, то есть не информировать вас, а именно вводить в заблуждение. Эта возможность вводить в заблуждение и есть тот отличительный признак, что указывает на существование означающего.

В книге «Прочь от реальности» мной была показана универсальность конструкции *quid pro quo* в жизни и в художественном произведении. Но какое это имеет отношение к двум уровням реальности? Денотат никогда не существует в чистом виде. Он заражен сигнификатом. Всегда можно в денотате найти сигнификат,

потому что, по словам Лакана, реальность заражена означающим. Поэтому принцип *quid pro quo*, универсальной ошибки становится основополагающим: денотат может притворяться сигнификатом, чтобы втереться в доверие к означающему. Но, говоря метафорически, возможность моделирования ошибки должна быть предоставлена сюжету естественным языком. Рассмотрение особенности семантики естественного языка обычно понимается как препятствие на пути к построению языка науки (в частности, в программе логического позитивизма Венского кружка). Истина ограничена строгим числом фактов, в то время как область фантазии, вранья, виртуальных объектов, «индивидуальных концептов» практически безгранична. Куайн писал по этому поводу следующее:

Трущобы возможных объектов — благодатная почва для элементов, склонных к беспорядку. Возьмем, к примеру, возможного толстого человека, стоящего у той двери, или же возможного лысого человека, стоящего у той же двери. Являются ли они одним возможным человеком, или это два возможных человека? Как нам решить этот вопрос? Сколько же возможных человек стоит у двери? И не больше ли там худых возможных людей, чем толстых? И сколько из них похожи друг на друга? И не делает ли их это сходство одним человеком? Разве нет двух возможных абсолютно одинаковых предметов? Но не то же ли это самое, что сказать, что для двух возможных предметов невозможно быть одинако-

выми? Или, наконец дело просто в том, что понятие тождества неприменимо к недействительным возможным объектам? Но тогда какой смысл говорить о каких бы то ни было сущностях, если о них нельзя сказать, тождественны ли они или отличаются друг от друга.

Но то, что является препятствием или осознается в качестве препятствия в логике, становится необходимым в беллетристике. Говоря так, мы подчеркиваем, что эпистемический сюжет рассматривается нами как наиболее фундаментальный из всех выделенных нами типов сюжета. Что же так выделяет эпистемический сюжет по сравнению с алетическим, деонтическим, аксиологическим, темпоральным и пространственным? Прежде всего наибольшая универсальность первого. Целые жанры нарративной прозы строятся на эпистемическом сюжете, не могут без него обойтись, используя остальные виды модальностей на второстепенных мотивных ролях. Такими жанрами являются прежде всего комедия, детективный жанр, криминальный роман и т. п. В целом можно отметить, что чем более массовым является беллетристический жанр, тем более необходимой, неотъемлемой его частью является эпистемический сюжет, сюжет ошибки, *quid pro quo*. Почему это так, можно попытаться выразить следующим рассуждением. Основной единицей нарративной прозы является высказывание, пропозициональной основой которого служит понятие истинности и ложности, рассматриваемое в качестве денотата. В соответствии с тем

представлением, которое мы рассмотрели в первой главе, нарративная проза чаще всего лишает свои пропозиции значений истинности, но только для того, чтобы освободить эпистемическое пространство для интенциональной игры в истинность и ложность. «Изображенные», вторичные пропозиции в каком-то смысле остаются пропозициями. Они являются отображением языка и тем самым — своей языковой сути, которая в экстенциональном смысле была у них отнята беллетристическим жанром. Но поиск истины, загадка, ошибка, розыгрыш, обман, надувательство, хитрость, просто откровенная ложь — все это возможно лишь на языке пропозиций. Поэтому наиболее фундаментальный интерес рядового «пользователя» беллетристики — это интерес эпистемический, а не деонтический, не аксиологический, не алетический, не темпоральный и не пространственный. Для читателя прежде всего важно, что будет дальше. Деонтические и аксиологические мотивы (хорошо ли поступил герой или дурно? можно ли нарушать норму, или это исключено?) выступают в беллетристическом дискурсе лишь как мотивная аранжировка. То же самое можно сказать и о пространстве и времени. Пространство, как мы показали выше, просто является слугой эпистемического сюжета, а время — слугой алетического сюжета научно-фантастического типа. Говоря метафорически, когда пользователь массовой литературы читает, что герой переходит улицу на красный свет, то здесь важнее не деонтический признак, а эпистемический: «Он нарушил запрет, что же из этого последует? Задавят его или не задавят? Накажут

или не накажут?» Если переформулировать всё сказанное в терминах первого раздела, то можно сказать, что потребность в переработке нарративной информации, которая заключается в исчерпании, так сказать, «интенциональной энтропии», прежде всего удовлетворяет именно эпистемический сюжет.

7. Как связан эпистемический сюжет в жизни с фундаментальностью психотической высшей реальности? В здоровом теле больной дух — вот универсальное квид про кво любой экзистенции.

Модальная типология психических расстройств

Можно ли рассматривать психическое здоровье человека как модальность, можно ли построить пси-модальную логику? Все модальные логики происходят от алетической логики Аристотеля — необходимо, возможно, невозможно. Но пси-модальность, если ее можно назвать модальностью, как будто двучленна. Человек либо здоров, либо болен.

Какие бывают неврозы? Истерия, невроз навязчивых состояний (обсессия), депрессия, фобия (тревожная истерия). Можно ли сказать, что каждый человек имеет один из этих неврозов? И да, и нет. Вернее, и нет, и да. В каком смысле нет? Можно представить себе человека, который не является ни депрессивным, ни истеричным, ни обсессивным. То есть у него, конечно, есть всего понемножку, но этого можно не принимать в расчет. А в каком смысле да? Есть такое понятие в психоанализе, как невроз характера — он примерно совпадает в отечественной психиатрии с понятием психопатии или акцентуации. Можно утверждать, что невроз характера есть у каждого человека. У каждого человека есть характер. Поэтому пси-норма это либо *никакой* характер, чего не может быть, либо какой-то характер, какая-то психическая конституция.

Любая психическая конституция, это, так или иначе, отклонение от нормы. То есть, условно говоря,

шизоид может быть здоровым человеком, но все равно он шизоид, то есть он углубленно-замкнутая личность. И это будет его шизоидная пси-норма. И эта норма в широком смысле невротична, даже если его считать трижды здоровым.

Почему мы считаем норму шизоида невротичной в смысле невроза характера? Здоровье и замкнутая углубленность — это плохо сочетающиеся понятия. Если взять любой другой характер, получится то же самое. Например, демонстративность истерика или педантичность ананкаста. Для них это психическая норма. Но постоянное стремление привлекать к себе внимание или постоянное стремление все проверять и перепроверять в ущерб продуктивности трудно считать эталоном здорового поведения.

Что такое вообще психическое здоровье? Это адаптированность человека в мире. Пси-норм столько же, сколько психических конституций. Поэтому если рассматривать невроз не как острое состояние, а как невроз характера, то именно его можно считать нормой. Будем считать, что в пси-модальности три члена — невроз, пограничное состояние и психоз. В каком смысле можно сказать, что этот трехчлен — модальность? Модальность — это определенный тип отношения высказывания к реальности. Например, деонтическая модальность приписывает высказыванию определенный модальный оператор: должно, нельзя и можно. Можно ли приписать высказыванию три пси-модальных оператора и что это будут за операторы? Для того чтобы это понять, надо каким-то образом

определить, что такое невроз, пограничное состояние и психоз. Фрейд определил психоз как отрицание реальности. В этом смысле понятие психоза более простое, по сравнению с понятиями невроза и пограничного состояния. Вот что пишет об этом Фрейд в статье «Потеря реальности при неврозе и психозе»: (1924):

Я указал в предыдущей статье («Невроз и психоз») на одну из отличительных черт между неврозом и психозом: при неврозе Я, находясь в зависимости от реальности, подавляет часть Оно (часть влечений), в то время как то же самое Я при психозе частично отказывается в угоду Оно от реальности. Таким образом, для невроза решающим является перевес влияния реальности, для психоза же — перевес Оно. Утрата реальности кажется как бы с самого начала данной для психоза; можно было бы думать, что при неврозе удастся избежать этой утраты реальности.

Однако это совершенно не согласуется с наблюдением, которое все мы можем сделать, что каждый невроз каким-либо образом нарушает отношение больного к реальности, что невроз является для него средством отказа от реальности и в тяжелых случаях означает прямо-таки бегство из реальной жизни. Это противоречие наводит на размышление, однако оно легко может быть устранено, и объяснение его будет способствовать лишь нашему пониманию невроза.

Это противоречие существует лишь до тех пор, пока мы принимаем во внимание исходную ситуацию невроза, в которой **Я предпринимает в угоду реальности вытеснение влечения**. Но это — еще не самый невроз. Последний состоит из процессов, вознаграждающих потерпевшую часть Оно, следовательно из реакции на вытеснение и из неудачи вытеснения. **Недостаточное отношение к реальности является следствием этого второго шага в образовании невроза, и мы не должны быть удивлены, если детальное исследование покажет, что утрата реальности касается той именно части реальности, по требованию которой было произведено вытеснение влечения.**

Характеристика невроза, как следствия **неудавшегося вытеснения**, не является чем-то новым. Мы всегда говорили это, и только вследствие новой связи появилась необходимость повторить то же самое.

Впрочем, то же сомнение возникает в особенно сильной форме, если речь идет о случае невроза, в котором известен повод («травматическая сцена») и в котором можно видеть, как человек отвращается от такого переживания и предает его амнезии. Для примера я приведу много лет тому назад анализированный мною случай, в котором девушка, влюбленная в своего шурина, была потрясена у смертного одра своей сестры мыслью: «Теперь он свободен и может на тебе жениться». Эта сцена

была тотчас забыта, и, таким образом, был начат процесс регрессии, который привел к истерическим болям. Но именно в данном случае поучительно посмотреть, каким путем **невроз** пытается исчерпать конфликт. Он обесценивает реальное изменение, вытесняя притязания влечения, о котором идет речь, т. е. любовь к шурину. **Психотическая реакция заключалась бы в отрицании факта смерти сестры.**

Можно было бы ожидать, что при возникновении психоза происходит нечто аналогичное процессу при неврозе, разумеется, в пределах других инстанций, т. е., что и при психозе, ясно отмечаются два момента, из которых первый отрывает на этот раз Я от реальности, а второй хочет поправить дело и воссоздает отношение к реальности за счет Оно. И действительно, также и при психозе можно наблюдать нечто аналогичное; и здесь можно наблюдать два момента, из которых второй имеет характер репарации (восстановления), но аналогия эта далеко не соответствует глубокой равнозначности этих процессов. Второй момент в психозе тоже стремится к вознаграждению за утрату реальности, но не за счет ограничения Оно (подобно тому, как при неврозе процесс этот происходит за счет реального соотношения), а другим, гораздо более независимым путем: **созданием новой реальности**, в которой больше нет уже причин, содержавшихся в покинутой реальности. Таким об-

разом, второй момент как при неврозе, так и при психозе движется одними и теми же тенденциями, он служит в обоих случаях властолюбивым домогательством Оно, которое не хочет покориться реальности. Следовательно, как невроз, так и психоз являются выражением возмущения Оно против внешнего мира, выражением его неудовольствия или, если угодно, его неспособности приспособиться к реальной необходимости. Невроз и психоз отличаются друг от друга гораздо больше в первой, начальной реакции, нежели в следующей за ней попытке восстановления.

Первоначальное отличие получает в конечном результате свое выражение в том виде, что при неврозе часть реальности избегается на некоторое время, при психозе же она перестраивается. Или при психозе за первоначальным бегством следует активная фаза перестройки, при неврозе же после первоначальной покорности следует запоздалая попытка к бегству. Или еще иначе: **невроз не отрицает реальности, он не хочет только ничего знать о ней; психоз же отрицает ее и пытается заменить ее** (выделено мной — В. Р.).

Именно в этом смысле психоз — более простое понятие, поскольку более простым является понятие отрицания реальности по сравнению с понятием бегства от реальности, такого положения вещей, когда невротик не хочет ничего знать о ней. Что такое отрицание реальности?

Очевидно, это такое положение вещей, при котором к элементам реальности, то есть к фактам, применяется логическая операция отрицания. Возьмем пример из вышеприведенной цитаты из Фрейда. Если бы у женщины, у которой умерла сестра, начался психоз, она как бы сказала: «Нет, неверно, что моя сестра умерла. Моя сестра жива». Это и есть психотическое отрицание реальности.

И вот теперь мы можем, наверно, сказать, что это «неверно, что» и является логическим психотическим модальным оператором. Но что же в таком случае будет являться невротическим модальным оператором? Невроз не отрицает реальность, но он и не утверждает ее, он ничего не хочет о ней знать. Как это можно формализовать?

Я ничего не хочу знать о том, что моя сестра умерла.

То есть неверно, что я хочу знать, что моя сестра умерла. То есть отрицается не сам факт смерти сестры, а отрицается желание знать о нем. Мы видим, что это довольно трудно формализовать, потому что здесь задействованы сразу две традиционные модальности — аксиологическая со знаком минус (я не хочу) и эпистемическая (знать). Аксиология со знаком минус — это и есть истерия. Эпистемическая модальность — это признак шизоида. Если бы сестра сказала «Моя сестра умерла, но я не хочу, чтобы моя сестра умерла», это была бы чистая истеричка.

Если фрейдовская пациентка была бы чистая истеричка, наверное, она что-то в таком духе и сказала. Но если она сказала «Я ничего не хочу *знать* о том, что

моя сестра умерла», то это не чистая истеричка, а шизо-истеричка. А если бы она была шизоидом? Что бы она сказала в этом случае? Можно предположить, что она сказала бы нечто вроде «Я не знаю, умерла моя сестра или нет». По моему мнению, это высказывание и выражает то, что можно назвать пограничным состоянием. Ведь такого невроза, как «шизоидия», не существует. То есть шизоид как раз находится на границе между невротиком и психотиком (шизофреником). Что же у нас получается? Психотический оператор — это чистое отрицание. Невротический оператор — это желание со знаком минус, то есть отрицание желания. Оператор пограничного состояния это эпистемика со знаком минус, то есть отрицание знания.

- *Моя сестра умерла, но я не хочу, чтобы она умерла (невроз)*
- *Я не знаю, умерла моя сестра или нет (пограничное состояние)*
- *Нет, моя сестра не умерла (психоз)*

Итак, психотик отрицает реальность, невротик отрицает желание реальности, пограничный психопат отрицает знание о реальности. Здесь сразу возникает много проблем. Прежде всего мы не можем пока сказать, что у нас получился стандартный модальный трехчлен со специфическими пси-модальными операторами. Но в каждом из трех случаев — невроза, пограничного состояния и психоза — мы встречаем слово реальность. Что это значит?

По-видимому, то, что психопатология — это некое отношение к реальности. Это, по-видимому, и есть ее модальное наполнение. Но что значит не желать реальности при неврозе? Это некоторое отворачивание от реальности (то, что Фрейд называет бегством от нее). Но неврозов несколько и можно предположить, что оператор «нежелания реальности» специфичен только для истерии. А как относится к реальности депрессивный невротик? Что бы сказала сестра о своей умершей сестре, если бы у нее началась депрессия, а не истерия? Возможно, она сказала бы «Мне все равно, что моя сестра умерла». Это было бы проявлением депрессивной деперсонализации, выражение безразличия, «скорбного бесчувствия». А что бы сказала сестра, если бы у нее началось обсессивно-компульсивное расстройство? Может быть, она сказала бы нечто вроде «Моя сестра умерла, но я ничего не чувствую. Надо ее как можно лучше похоронить». То есть проявился бы механизм обсессивной изоляции.

Что общего между невротическими реакциями при истерии, депрессии и обсессии, то есть между «не хочу», «все равно» и «ничего не чувствую»? Есть ли здесь бегство от реальности, о котором говорит Фрейд? «Не хочу реальности», «не чувствую реальности», «все равно, что реальность, что нереальность».

Депрессия в этом плане ближе к пограничному состоянию, что естественно, если вспомнить, что депрессия по Фрейду в принципе ближе к психозу («нарциссический невроз»). Но так или иначе при невротических реакциях общим является то, что можно назвать протестом невротика против реальности — и в случае истерии,

и в случае обсессии, и в случае депрессии. «Я не хочу, чтобы моя сестра умерла». «Мне все равно, что моя сестра умерла». «Я не чувствую, что моя сестра умерла». В случае истерии это протест активный, в случае обсессии и депрессии — более пассивный, но все равно это протест. Что такое протест против реальности? «Я протестую против реальности, это значит, я признаю ее существование, но мне она неприятна». По-видимому, в этом суть невротического отношения к реальности.

Все-таки получается, что модальным пси-оператором является оператор «реально, что». При неврозе — «реально, что», при психозе — «неверно, что реально что» и при пограничном состоянии — «реально, что и нереально, что».

- *Реально, что моя сестра умерла (невроз)*
- *Реально и нереально, что моя сестра умерла (пограничное состояние)*
- *Неверно, что реально, что моя сестра умерла (психоз)*

В этом случае невроз приравнивается так или иначе к норме, но об этом мы подумаем позже. Возникает проблема с оператором пограничного состояния. Что значит «реально, что и нереально, что»? Похоже, что это оператор многозначной логики, то есть, в сущности, «Моя сестра умерла и моя сестра не умерла». По Блейлеру, это есть схизис. «Я такой же человек, как вы, и я не такой человек, как вы». Но схизис — это показатель психоза,

шизофрении. Получается, что, по Блейлеру, при психозе реальность не отвергается, а одновременно отвергается и не отвергается, а по Фрейду — однозначно отвергается. Но пример Блейлера не говорит, строго говоря, о реальности. «Я такой же человек, как вы, и я не такой человек, как вы». Это не высказывание о реальности. Оператор применяется не ко всему высказыванию, а к его предикату, то есть не *de re*, а *de dicto*. Похоже, что человек, о котором говорил Блейлер, полностью не отказывается от реальности, а относится к ней амбивалентно. Но это значит, что он находится в пограничном состоянии.

Во времена Блейлера и Фрейда не было понятия пограничного состояния. Что такое вообще пограничное состояние? В чем его отличие от невроза и от психоза? Ну, например, что характеризует шизоида? Как он относится к реальности? Считается, что шизоид не верит в обыденную реальность. Но это не значит, что он отрицает наличие обыденной реальности. Он полагает ее не столь важной, как высшую реальность символов, платоновских идей, и (или) он не может сказать точно, существует обыденная реальность или нет. То есть пограничный человек тестирует реальность в том смысле, у него нет бреда и галлюцинаций как у психотика (то есть он не воссоздает новой психотической реальности, как об этом пишет Фрейд), но он отказывает обыденной реальности в ценности. Получается, что блейлеровский шизофреник и фрейдовский психотик — это не одно и то же. И, похоже, что Блейлер говорит, скорее, о том, что теперь называют пограничным состоянием. Но это противоречит обыденному пониманию

шизофрении как психоза. На самом деле шизофрения может проходить во всех трех регистрах — невротическом, пограничном и психотическом. И в этом случае противоречие устраняется. Подумаем теперь, что если действительно нам удалось выявить модальный пси-оператор, то мы должны понять, какие законы действуют в этой модальной пси-логике. Возьмем аналогию с логикой алетической, где основной закон гласит: «**Если необходимо, что, то возможно, что**». Действителен ли этот закон в пси-логике? «Если реально, что, то реально, что и неверно, что реально, что». Ясно, что этот закон не действует. Каково же соотношение между тремя операторами: «реально, что», «реально, что и неверно, что реально что» и «неверно, что реально, что»? Понятно, что наибольшую трудность представляет собой второй оператор. Что значит «реально, что и неверно, что реально, что»? «Я не знаю, умерла моя сестра или не умерла». Похоже, что мы здесь имеем дело с паранепротиворечивой трехзначной логикой. Но в этом случае оператор «реально, что» становится как будто лишним.

- *Моя сестра умерла*
- *Моя сестра умерла и моя сестра не умерла*
- *Моя сестра не умерла.*

Но здесь, по-видимому, придется уточнить, что мы будем понимать под реальностью. От какой реальности отказывался фрейдовский психотик? Фрейд был человеком XIX века. Поэтому можно предположить, что

под реальностью он понимал обыденную «объективную реальность». Но психотик не только отказывается от реальности. Он создает новую, фантастическую, как говорит Фрейд, реальность. И эта реальность уже совсем другая. Это бредовая реальность. Чем бредовая реальность отличается от обыденной реальности кроме того что она бредовая, то есть ее на самом деле не существует с позиций нормального человека, то есть невротика? Это реальность — чудесная, если охарактеризовать ее в двух словах, такая же, как в сновидении. То есть в этой реальности не действуют те законы, которые действуют в обыденной реальности. В частности, можно сказать, что в этой новой реальности не действуют законы модальных логик. Здесь не действует закон «Если моя сестра умерла, то невозможно, чтобы она была жива». Психотическая реальность для того и нужна, чтобы в ней мертвая сестра оживала. Вот в чем сущность психоза и вот для чего он нужен. Отрицание обыденной реальности — это только первый этап. Вторым этапом — оживление сестры в репаративной психотической бредово-галлюцинаторной реальности. Что это нам дает? То, что мы имеем дело с двумя реальностями — предпсихотической и психотической. Но все равно здесь все на данном этапе ясно и все равно психоз — это более простое состояние, чем пограничное состояние. Поэтому обратимся к нему. Когда шизоид говорит «Я не знаю, умерла ли моя сестра» и подразумевает «Реально, что моя сестра умерла, и неверно, что реально, что моя сестра умерла», можно предположить, что в первой части своего утверждения он говорит об обыденной

реальности, а во второй части — о фантастической психотической реальности. «Да, моя сестра умерла в обыденной реальности, но она не умерла в высшей реальности. Она существует в другой реальности, в Жизни Бесконечной или в другом воплощении» (в зависимости от того, кем является этот человек, христианином или буддистом, условно говоря). И вот тот факт, что пограничный человек в своем якобы противоречивом высказывании говорит о двух реальностях, совершенно разных по своей природе, не позволяет сказать, что перед нами трехзначная логика. Есть реальность 1 и есть реальность 2. В смысле реальности 1 — сестра умерла, в смысле реальности 2 — она не умерла. Поэтому никакого противоречия нет. Но как быть в случае блейлеровского шизофреника, который говорит «Я такой же человек, как вы, и я не такой человек, как вы»? В этом случае противоречие как будто действительно возникает. Но, может быть, мы слишком формально понимаем высказывание блейлеровского шизофреника. Я вполне допускаю, что он утверждает нечто следующее: он такой же человек, как доктор, в одном смысле и не такой человек, совершенно в другом смысле. И если это так, то все учение о схизисе рушится. Что мы имеем в виду? Каждое высказывание осмысленно только тогда, когда оно употреблено в каком-то определенном контексте. Это можно назвать законом Витгенштейна — значение есть употребление. Допустим, что в первой части своей конъюнкции блейлеровский шизофреник говорит доктору, что он такой же человек, просто потому, что все люди в каком-то смысле одинаковы. Но тут же во второй части

конъюнкции он подчеркивает, что он не такой человек, потому что верно и то, что все люди разные. И можно даже предположить, что шизофреник понимает, что у доктора своя реальность, а у него, шизофреника, своя. Поэтому он и не такой человек. И тогда здесь нет никакого схизиса, никакого раскола.

Но, может быть, мы привели просто неудачный пример. Возьмем не менее знаменитый пример схизиса, который приводит Блейлер в том же «Руководстве по психиатрии». Он говорит о схизисе у женщины, которая убила своего ребенка. Глаза этой женщины плачут, потому что это был ее ребенок, а рот смеется, потому что это был ребенок от нелюбимого мужа. И опять мы не видим противоречия. Нормальные люди могут одновременно смеяться и плакать, потому что обычная повседневная реальность может быть сама по себе амбивалентной (слово, которое придумал Блейлер), то есть в самой обыкновенной обыденной реальности вполне может иметь место событие, которые способно вызывать одновременно и смех, и слезы. То, что эта женщина не любила своего мужа и любила своего ребенка, вполне тривиальный факт, в этом нет ничего психотического. И есть много людей, которые смеются, а глаза у них печальные. И эти люди не психотики. Получается что блейлеровский шизофреник — вовсе и не шизофреник? Мы вернемся к этому вопросу позже. А пока нас все-таки интересует пограничное состояние. Вот там действительно две реальности — обыденная, в которой сестра умерла, и высшая, в которой она в определенном смысле жива. Характерно, что ни Блейлер, ни Фрейд не диффе-

ренцировали пограничного состояния, потому что они оба были людьми XIX века, людьми позитивизма. В XX веке все уже было не так.

Но заметим все-таки, что шизоид говорит «Я не *знаю*, умерла моя сестра или нет». А в исходном примере Фрейда сестра как бы говорит «Я не хочу *знать*, что моя сестра умерла». Что означает это примешивание эпистемической модальности к высказыванию, характеризующему пограничное состояние? Что такое эпистемическая модальность? Это трехчлен: знание — полагание — неведение. Почему важно, что к пограничному состоянию примешивается идея знания со знаком минус? Он не знает, умела ли его сестра. Вспомним высказывание Мура, его доказательство существования внешнего мира. «Я знаю, что это моя рука» — это пример абсолютно достоверного знания. Мог ли бы пограничный человек, тот же шизоид, сказать «Я не знаю, что это моя рука»? Нет, похоже, он так сказать бы не мог, и, скорее, так мог бы сказать психотик. В чем же тогда различие высказываний «Это моя рука» и «Моя сестра умерла»? Или их можно перефразировать, чтобы сделать изоморфными: «Моя рука существует», «Моя сестра существует». Рука — принадлежность тела говорящего, в то время как сестра это другой объект. Сказать «Я не знаю, что моя рука существует» в определенном смысле то же самое, что сказать «Я не знаю, что мое тело существует». Это психотическое высказывание. А если его перефразировать так: «Реально, что мое тело существует, и неверно, что реально, что мое тело существует»? Все равно интуитивно получается, что это высказывание

не пограничного шизоида, а психотика, шизофреника. Почему? Представим себе, что это за состояние, когда, человек не знает, существует он или нет, реален он или нет. Почему мы считаем, что это психотическое состояние, ведь это не полное отрицание реальности, но лишь сомнение в ее существовании. Но это сомнение не в существовании реальности вокруг, а сомнение в существовании реальности самого себя, а это совсем другое дело. Хорошо, сравним тогда высказывания «Реально, что мое тело существует, и неверно, что реально, что мое тело существует» и «Неверно, что реально, что мое тело существует». И то и другое высказывания явно психотические. Что же получается? Что сомнение в существовании своего тела в каком-то смысле приравнивается к полному отрицанию существования своего тела. «Я сомневаюсь, что моя сестра умерла», «Я сомневаюсь в том, что я существую». Почему сомнение в существовании самого себя является гораздо более сильным, чем сомнение в существовании сестры? Разве человек не может сказать о себе «Я не знаю, существует ли мое тело»? И подразумевать при этом «Может быть, мое тело не существует в обыденной реальности, но существует в высшей реальности». И в том ли дело, что бессмертной является душа, а тело — нет? «Я сомневаюсь, что моя душа существует». «Реально, что моя душа существует, и неверно, что реально, что моя душа существует». В существование души можно верить и не верить, но сомневаться в этом как-то нелепо. Но если мы приравниваем понятие души к понятию психики, то мы можем допустить такое высказывание: «Я сомневаюсь, что моя психика

существует». Такое может сказать только психотик, так как это противоречит декартовскому «Я мыслю следовательно я существую». Почему невозможно сомневаться в том, что я мыслю? А кто же тогда сомневается, что я мыслю? Это сомневается кто-то еще, не я. В чем сущность психоза в данном аспекте? В возможности отрицания существования собственного Я, в отрицании того, что это Я говорю «Меня не существует», а вместо меня говорят какие-то другие сущности, которые тоже не существуют. Но здесь что-то не так. Существует два вхождения в психоз. Первый такт — это отрицание реальности. Но что значит, отрицание реальности? Ничего не существует? Нет, он отказывается только от обыденной реальности. «Моя сестра не умерла» — в то время как для всех очевидно, что она умерла. Это первый такт.

Второй такт — моя сестра жива в какой-то другой реальности. Знание об этой реальности и составляет сущность психоза. Сомнение, амбивалентность — признак пограничного состояния. Уверенность — признак психоза. Пограничный человек тестирует реальность в том смысле, что он разделяет с другими людьми истинность высказывания «Моя сестра умерла», но в глубине души он сомневается в этом. Психотик не сомневается. Знание какой-то истины, находящейся за пределами обыденного опыта, входит в сущность шизофренического психоза, и этим он и интересен.

Итак, мы имеем трехчлен: невроз — пограничное состояние — психоз. Психоз оперирует оператором «неверно, что реально, что», невроз — оператором «реально, что», пограничное состояние — «реально, что и неверно,

что реально, что». Но важное отличие этого трехчлена от других модальных трехчленов состоит в том, что это континуум. Психотик не всегда психотик. После приступа он может перейти на пограничный или даже на невротический уровень. Но на какой бы уровень он не перешел, в нем остается психотическая часть. И, с другой стороны, невротик, каким бы «нормальным» он ни был, потенциально имеет психотическую часть. Откуда берутся эти психотические части? Откуда берется психоз? Как человек заболевает шизофренией, что происходит в его психике? Психоаналитики говорят, что имеет место регрессия на более низкий уровень сознания. Этот низший уровень сознания заложен в каждом человеке. Если продолжать пользоваться примером Фрейда, то каждый человек может на смерть сестры отреагировать психотически, то есть отрицать ее в качестве первой ступени, первого такта, а затем перейти ко второму такту и утверждать, что его сестра живет в какой-то другой реальности. Психоаналитик считали, что эта регрессия происходит не только на стадию ребенка, но на первобытную стадию сознания. Представим себе, что у первобытного туземца, который едва умеет говорить, умерла сестра. Я думаю, что для первобытного человека, каким мы его представляем благодаря реконструкциям антропологов, не существовало в сознании пси-модального трехчлена в том виде, в каком он существует для современного человека. Допустим даже, что первобытный человек или современный туземец может сказать «Моя сестра умерла». Но для него, как можно предположить, это будет одновременно и утверждение,

и отрицание. Утверждение в том смысле, что он действительно будет считать, что его сестра умерла, отрицание в том смысле, что он будет также считать, что его сестра просто перешла в мир мертвецов. При этом первобытного человека нельзя назвать психотиком, потому что тогда надо будет считать, что все вокруг него тоже психотики. Потому что все вокруг тоже будут считать так же, как он. И можно предположить, что первой заботой первобытного человека будет забота о том, чтобы его мертвая сестра не вернулась из мира мертвецов и как-то не навредила ему. Потому что для первобытного человека, каким мы его представляем из реконструкций антропологов, мир живых и мир мертвых тесно связаны. То есть они могут быть пространственно отграничены, мертвецы могут жить на каком-то особом острове, как это описывал, скажем, Малиновский, но в определенное время мертвецы возвращаются, и надо будет для них устроить пир, чтобы как-то их умилостивить. И я думаю, что самое важное при этом, что у первобытного человека не может быть пограничного состояния сознания. Первобытный человек не может быть, условно говоря, шизоидом. Сомнение ему чуждо, и вообще эпистемический оператор у него сводится к двучлену. Он либо знает, либо не знает. И более того, можно сказать даже, что он только знает, потому что иначе ему было бы невозможно ориентироваться в мире, полном духов и других сверхъестественных существ. Реальность первобытного человека изначально чудесна, алетична. В этой реальности нет невозможного. И в этом смысле, феноменологически, первобытный человек живет все же

на уровне психоза. Поэтому и говорят, что психотик регрессирует к стадии первобытного сознания. Можно с уверенностью утверждать, что психотик тоже все знает, ни в чем не сомневается. Незнание или сомнение — прерогатива здоровых людей. Психотик всему найдет объяснение. Если его спросить, например, почему его сестра умерла, он, как и первобытный человек, выдвинет какие-то веские мифологические основания. Но жить в ощущении тотального знания чрезвычайно трудно. Знание порождает страх. Почему? Казалось бы, наоборот, знание должно порождать бесстрашие. Но представим себе, что человек знает будущее. Тогда он будет знать и время своей смерти и смерти своих близких. Постоянный страх продуцирует систему табу, которая нам хорошо известна. Чтобы не прикасаться к высшим силам, которые пронизывают жизнь первобытного человека, он подобно навязчивому невротичу отгораживается от них системой обрядов. Все это известно, в частности, из книги Фрейда «Тотем и табу».

Что здесь мы можем предложить нового? Вероятно, идею модального синкретизма. Что происходит, когда у современного человека умирает сестра? Смерть близкого родственника — это прежде всего горе, то есть аксиологическая модальность со знаком минус. При этом современный человек ничего не знает о смерти и предпочитает не знать о ней, как об этом писал Хайдеггер. То есть мы имеем здесь эпистемическую модальность со знаком минус. Идея о том, что человек — это такое существо, которое тем и отличается от других животных, что знает о своей смерти и должен ее добровольно

принять (деонтика со знаком плюс), принадлежащая Гегелю, характеризует не обычного человека, а шизоида, каким и был сам Гегель. Для первобытного человека все иначе. Смерть для него не является однозначно горем. Она может быть долгожданным переходом в другой мир, где жизнь будет лучше (аксиология со знаком плюс). И он знает об этом (эпистемика со знаком плюс). Это должно случиться (деонтика со знаком плюс). Современный человек тоже знает, что смерть неизбежна, но тем не менее всякий раз она настигает его и его близких так, как будто произошло нечто невероятное, чего не должно было случиться. Смерть для современного человека — это и норма, и отклонение от нормы.

Вопрос Как же все-таки строится пси-модальность? Мы уже поняли, что высказывание невротика «Я не хочу, чтобы моя сестра умерла» не соотносится напрямую с высказыванием психотика «Неверно, что моя сестра умерла». Но если мы вспомним, что пси-модальность — это континуум, то уместно приписать консеквенту оператор «возможно». И тогда мы получим «Если я не хочу, чтобы моя сестра умерла, то возможно, что неверно, что моя сестра умерла». То есть мое нежелание смерти сестры (которое, впрочем, может скрывать бессознательное желание ей смерти) имплицитно подразумевает возможность того, что она не умерла, так как в каждом невротике есть психотическая часть. То есть в этой импликация мое желание может галлюцинаторно (в широком смысле этого слова — в фантазиях, например) удовлетворяться. Если бы невротик просто переходил в психотика, то оператор «возможно» был бы не нужен, так как психотическое

мышление не знает среднего члена модальностей: возможно, полагаемо, безразлично и разрешено. Психотическое мышление бинарно. Можно привести этому простое объяснение. В психотическом сознании нет Я, на место него становится Оно. То есть первый член пси-модальности, который соответствует операторам необходимо, хорошо, известно и должно, соответствует Суперэго. То есть из Суперэго исходит все необходимое, должное, хорошее и известное. Это как будто противоречит тому, что психотическое Суперэго может быть очень жестким и жестоким, и голоса, которые слышит психотик, уверяют его, что он плохой, во всяком случае, на первой стадии развития шизофренического психоза. Но это касается той стадии, когда его Я еще не исчезло, стадии преследования. Это во-первых. А во-вторых, психотическое Суперэго, скажем, мистические «силы» пациентки В. Райха из последней части его книги «Анализ характера» или Бог, или масоны сами являются если не всегда благими, то, во всяком случае, амбивалентными, они воплощают Имя Отца и весь комплекс Эдиповой диалектики отношения к нему, от любви до ненависти. На место второго члена психотического двучлена становится Оно, которое соответствует тому, что невозможно, запрещено, плохо и неизвестно. Почему Оно — невозможно? Потому что происходит нечто невозможное — Я исчезает и на его место становится некая безликая сила психотического влечения. Можно сказать, что это чудо психоза. Психотик может формально говорить, но это говорит уже не его Я, это говорит Оно. Вот почему речь психотика бессвязна

и непонятна — это говорит его психотическое бессознательное. Почему Оно соответствует негативному аксиологическому члену «плохо»? Потому что психотик и сам оценивает себя как плохого. Именно это внушает ему психотическое Суперэго. По-видимому, этому соответствует архаическое понимание психоза, безумия как наказания за грехи, одержимости бесом. Почему психотическое Оно является запрещенным? Примерно по той же причине. Влечения традиционно всегда оцениваются как нечто низменное и поэтому запрещенное. Если сказать, что влечения традиционно понимаются как сексуальные, то для психотика сексуальность безусловно запрещена, табуирована или перверсирована, как у Шребера. И, наконец, состояние психоза, «состояние Оно» — это, конечно, нечто неведомое, чему нет названия. Посмотрим, что у нас получилось. «Если я не хочу А, то возможно, что не А», где а в данном случае смерть сестры. Но что значит «возможно, что не А»? Это то же самое, что «возможно, что а и возможно, что не А». То есть невротик, дающий такую импликацию, на самом деле не уверен, что его нежелание смерти сестры пусть даже галлюцинаторно исполнится, то есть невротик необязательно переходит в психотический регистр. Он может перейти в пограничный регистр. Возможно, что А, и возможно, что не А. Это все равно, что «А и неверно, что А» — формула пограничного состояния. То есть мы понимаем текучесть этого модального трехчлена. Но в пограничном состоянии Я сохраняется. Чем пограничное состояние отличается от невротического в модальном плане? Пограничное

состояние — это состояние второго нейтрального модального члена, состояние сомнения. Но если исходить из идеи модального синкретизма, то это также состояние возможности, разрешенности и безразличия. В каком смысле пограничное состояние можно рассматривать как состояние разрешенности? Кто такой в этом плане шизоид? Шизоид — это ведь не сумасшедший. Суперэго шизоида не предписывает ему нечто, как психотику, а разрешает. Об эпистемическом компоненте шизоидного состояния как о сомнении мы уже говорили. То, что шизоидное состояние — это нечто возможное, а не невозможное, подобно психотическому состоянию, тоже достаточно ясно. (Вопрос — можно ли рассматривать норму или невротическое состояние как нечто необходимое? Вероятно, разумно было бы сказать, что норма логически необходима, чтобы можно было вообще как-то ориентироваться дальше, отличать нормальное от эксцессивного, и это касается не только психической нормы, но и деонтической и эстетической.) Остается такое понятие, как понятие шизоидного аксиологического безразличия, нечто подобное тому, что Э. Кречмер назвал психэстетической пропорцией. Шизоид не рассматривает себя как плохого подобно психотику и не рассматривает себя как хорошего подобно нормальному человеку, которого мы называем синтонным, «безмятежно пребывающим среди вещей», согласно формулировке Л. Бинсвангера. Здесь возникают два интересных дополнения. На стадии величия психотик может рассматривать себя как абсолютно хорошего, как бога, и, наоборот, невротик может себя рассматривать как

безусловно плохого, скажем, виновного в смерти сестры. Второе дополнение касается того, что со времен Фрейда двучлен невротик — психотик не только сменился трехчленом невротик — пограничный — психотик, но и само понимание этих понятий сместилось. И тех, кого Фрейд рассматривал как невротиков, например Раттенмана (человека с крысами) или Человека Волка мы с современных позиций можем, скорее, рассматривать как пограничных и даже психотиков.

Рассмотрим сначала первое дополнение. Его смысл, как мне кажется, в том, что аксиологическое начало пронизывает все модальности. Рассмотрим алетическую модальность. Необходимость не может не быть «плохой», «хорошей» или нейтральной. В данном случае важно не то, можно ли ее расценить как хорошую и плохую (мы склонны считать, что ее обычно рассматривают как нечто позитивное), а в том, что даже если мы рассмотрим ее как нечто нейтральное, безразличное, это все равно будет аксиологическое измерение, потому что ничто не может быть аксиологически никаким. Почему так происходит? Пример «Моя сестра умерла» здесь не подходит, так как он изначально аксиологичен, рассмотрим предложение «Я вижу дерево». Говорящий может никак не относиться к этому высказыванию. Но даже если он к нему никак не относится (что, вообще говоря, сомнительно — зачем тогда вообще произносить это предложение?), то и в данном случае это аксиология — аксиология со знаком ноль. Ему безразлично, что он видит дерево. Такое положение вещей будет соответствовать состоянию депрессии, депрессивной деперсонализации.

Когда человек говорит «Мне все равно», это тоже аксиологическая оценка. Просто стоящее дерево, за которым никто не наблюдает, никак аксиологически не окрашено. Но это невозможно. В реальность всегда включен наблюдатель. А раз в нее включен наблюдатель, то это субъект, которому всегда либо хорошо, либо плохо, либо безразлично. Поэтому аксиология — это не обычная модальность среди других модальностей, а некая гипермодальность. Что это нам дает для понимания пси-модальности? Возьмем оператор невозможно. Когда человек говорит «Это невозможно!», он вкладывает в свое высказывание какую-то аксиологическую оценку.

Теперь что касается второго дополнения. Ратенманн, болезнь которого описана Фрейдом в одном из пяти больших случаев, страдал тяжелым неврозом навязчивых состояний. Это был офицер, который очень любил своего отца и полагал, что не может жениться на даме, которую он также любил, потому, что от этого его отец умрет. Вот в чем двух словах заключалась его obsessia. Obsessia — классический невроз, который Фрейд исследовал после истерии, с которой начался психоанализ. Что такое истерия? Это когда полученная травма вытесняется в бессознательное, и на ее месте возникает квазисоматический симптом. Оценивая клиническое наследие Фрейда, некоторые современные психоаналитики предположили, что истерички, описанные Фрейдом, были на самом деле множественными личностями, то есть, в сущности, психотиками (это мнение подытожила Ненси Маквильямс в известной книге «Психоаналитическая диагностика»). При этом настораживает

уже то, что в свете наших рассуждений пример Фрейда, которым мы все время пользуемся «Я не хочу знать, что моя сестра умерла», как мы показали выше, характеризует не невротическое, а пограничное состояние, поскольку там заложен эпистемический оператор. С другой стороны, мы в своих исследованиях показали, что истерия восходит к архаическим обрядам перехода, к свадебному обряду и обряду погребения, когда женщины проявляют предусмотренное обрядом акцентуированное истерическое поведение — плачут и рыдают. То есть то, что мы называем истерией, восходит к архаическим корням, если не первобытного, то достаточно древнего и, уж во всяком случае, не викторианского явления. Когда мы говорим о неврозе навязчивости, его формула тоже, в сущности, не невротическая. «Я не могу жениться на этой женщине, потому что мой отец умрет». Сколько же здесь заложено модальностей? Это прежде всего деонтическая модальность — невротик себе запрещает делать нечто, потому что он этого *хочет*. То есть сразу подключается аксиологическая модальность. Но также очень сильно подключен эпистемический оператор: пациент говорит, что он знает, что, если он женится на любимой женщине, его отец умрет. Откуда он это знает? И здесь подключается четвертая модальность — алетическая. Как любой невротик навязчивых состояний, он обладает всемогуществом мыслей. Но алетическая модальность — это основной признак психотического состояния. Именно психотик живет в мире чудесного. К тому же в своем анализе случая Раттенманна Фрейд все время подчеркивает его амбивалентность — то он

хочет убрать камень с дороги, по которой должна поехать его возлюбленная, то он хочет положить его обратно. В своих исследованиях мы показали, что так же, как истерия, обсессия связана с таким архаическим институтом, как заговоры — магические действия, направленные на что-то хорошее или дурное. С другой стороны, Фрейд в книге «Тотем и табу» подчеркивал связь системы табу с неврозом навязчивости. Но ведь система табу тоже чрезвычайно архаическая. Фрейд как будто не понимает того, что он рассуждает странным образом. К тому времени было уже разработано учение о регрессии при психозе в первобытную стадию, а здесь получается, что первобытный человек был невротиком навязчивых состояний. Как это объяснить? Предположение, что первобытные люди были невротиками, абсурдно, так как невротик тестирует реальность, первобытный же человек живет в регистре психоза, то есть высказывание о реальности у него одновременно является частью самой реальности (как показал Лосев). Остается предположить, что невроз навязчивых состояний — не невроз? А что же это? Вдумаемся во фразу «Если я женюсь на этой женщине, мой отец умрет». Можно ли сказать, что человек, произнесший эту фразу, тестирует реальность? Что это за реальность, в которой устанавливаются акаузальные связи между женитьбой человека и смертью его отца? Ведь при этом не имеется в виду, что отец так расстроится из-за женитьбы пациента, что умрет. Отец Раттенманна давно умер, а он еще продолжал сомневаться, жениться ему или нет на той даме. То есть он не хотел расстраивать мертвого отца. Каждый день

он ждал появления призрака отца, чтобы показать ему свои гениталии. Похоже, этот человек не тестировал реальность. Вернее, тестировал ее в одном и не тестировал в другом. Он и хотел жениться на этой женщине и в то же время не хотел этого. Такое положение вещей есть не что иное, как схизиз. Но мы в наших рассуждениях выше показали, что теория схизиза Блейлера не выдерживает критики в том плане, что схизиз — это не гарант психоза. Что же гарант психоза? Только отказ от реальности и репаративное построение новой фантастической реальности, то есть модель Фрейда.

- *Реально, что моя сестра умерла, но я не хочу знать об этом (невроз)*
- *Реально, что моя сестра умерла, и неверно, что моя сестра умерла (пограничное состояние)*
- *Неверно, что реально, что моя сестра умерла (психоз)*

Получается, то, что Фрейд называл неврозом, соответствует тому, что теперь называют пограничным состоянием. То, что Блейлер называл психозом, тоже соответствует пограничному состоянию. Похоже, что неврозов вообще не существует? Когда человек говорит «Я не хочу, чтобы моя сестра умерла» (истерия) или «Я не чувствую, что моя сестра умерла» (обсессия), или «Мне все равно, что моя умерла (депрессивная деперсонализация, скорбное бесчувствие), то не кажется ли, что это нормальные реакции человека? Никому не хочется

признавать поначалу, что его любимые родственники умерли. Многие сначала становятся как бы бесчувственными и деперсонализированными. То есть все нормальные люди — «невротики». Но все же следует разобраться, что Фрейд понимал под неврозом в свете его второй теории психического аппарата.

Невроз — это результат конфликта между Я и Оно, тогда как психоз — это аналогичный исход такого же нарушения в отношениях между Я и внешним миром («Невроз и психоз»¹, 1924).

Фрейд разграничивал психоневрозы, или неврозы переноса (истерия и Obsessive-compulsive disorder — результат конфликта Я и Оно), нарциссический невроз (который не образует переноса, как он считал, — меланхолию, близкую, по его мнению, к психозу, результат конфликта между Я и Суперэго) и, наконец, психоз — результат конфликта Я и реальности. Для психоневрозов основным механизмом защиты является вытеснение, на них Фрейд и построил свою теорию бессознательного. Для меланхолии основным механизмом защиты является интроекция, для психозов — проекция. Что такое конфликт между Я и Оно? Здесь главным становится понятие травмы. Будущий невротик получает в раннем детстве травму сексуального характера, которая вытесняется в бессознательное, а потом замещается квазисоматическим симптомом при истерии и навязчивым представлением или действием при

¹ Фрейд З., *Невроз и психоз* // З. Фрейд, *Влечения и неврозы*. М., 2007.

обсессии. Почему это конфликт между Я и Оно? Оно — это влечения, сексуальность, которая вытесняется в бессознательное. А Суперэго здесь как будто не причем. Но так ли это? Истерия и обсессия возникают, по Фрейду, на стадии Эдипова комплекса, когда отцовское Суперэго уже вовсю действует. И именно вследствие анальной фиксации, обусловленной отцовским Суперэго, возникает обсессивный невроз. А истерия? Истерическая травма связана с сексуальным столкновением с мужчиной, то есть с тем же отцом или замещающей его фигурой, что сам Фрейд очень подробно показал в случае Доры. Получается, что Суперэго играет не меньшую роль в возникновении психоневрозов, чем при меланхолии. Что же происходит в последнем случае? Мы все помним, что при депрессии действительно имеет место очень жесткое Суперэго, но откуда берется это жесткое Суперэго, если депрессия возникает на оральной стадии, когда главным персонажем при ребенке является мать? Опять нелогично. Свет проливает концепция Мелани Кляйн, согласно взглядам которой меланхолия возникает на депрессивной позиции, в районе года, то есть является гораздо более ранней по сравнению с психоневрозами и поэтому более тяжелой. И Суперэго здесь тоже раннее, архаическое, и Эдипов комплекс тоже ранний. И точно ли, что при меланхолии нет конфликта Я и Оно, сфер влечений? Да, депрессивный человек ощущает давление архаического Суперэго. Но почему он его ощущает? Это чувство вины за агрессию по отношению к материнской груди на параноидно-шизоидной позиции, то есть Оно (Id) тоже может быть архаическим.

Получается, что во всех трех «неврозах» конфликт между Суперэго, Я и Оно имеет место. В чем обоснованнее сомневаться — во второй теории психического аппарата или в том, существует ли вообще такая вещь, как невроз. Я предпочитаю не сомневаться во второй теории психического аппарата. Но тогда получается, что неврозов вообще не существует, невроз — это фикция. То есть существуют невротические реакции здоровых людей, а Фрейд лечил то, что мы теперь называем пограничными состояниями. Но не получается ли это спор о словах? Нет, это доказательство того, что «невроз» для человека нового времени — это нормальное состояние. Разве не нормально испытывать чувство вины, подавленности при определенных обстоятельствах, поплакать, побегать по комнате от возбуждения, разве большинство людей не суеверны подобно обсессивным невротикам? Что же это все означает? Это означает, во-первых, что мы можем приравнять невроз к норме и, во-вторых, мы можем задать вопрос, почему возникает такой человек, у которого такая нездоровая норма?

Невротик живет внутренней жизнью, а нормальный человек — внешней жизнью. Невротик — это интроверт, нормальный человек — экстраверт. Так получается. Но мы показали, что характерологический невроз — это и есть норма для человека христианской культуры. Значит, экстравертов не существует, и все люди живут внутренней жизнью — если все невротики? Хорошо, возьмем современную типологию характеров. Там есть характеры, которые соответствуют юнговскому экстраверту — циклоиды, истерики, epileптоиды,

и есть характеры, которые соответствуют юнговскому интроверту — психастеники, ананкасты и шизоиды. У каждого характера своя норма. Что такое циклоид? Это либо депрессивный человек, либо гипоманиакальный, либо синтонный. Но синтонных людей очень мало. Ну хорошо, их очень мало, но они есть. Это люди, которые «безмятежно пребывают среди вещей». Каких вещей? Скорее, не вещей, а фактов. Они безмятежно пребывают среди фактов. И что, они живут внешней жизнью и не живут внутренней жизнью? Нет, этого не может быть. Представим себе какого-нибудь пьянчугу-слесаря, который нацепил себе на грудь крест и считает себя православным. Он, скорее всего, вообще не представляет собой одного целостного характера, это мозаик-органик, то есть, скажем, немного от циклоида, немного от эпилептоида и немного от истерика. Он добродушный, но легко взрывающийся. Когда напьется, бьет жену, а потом плачет. Во-первых, можно как будто утверждать, что этот человек точно экстраверт, и, во-вторых, Евангелие ему точно не нужно. Что можно возразить по первому пункту? Что же, у него вообще нет внутренней жизни? Какая может быть внутренняя жизнь у слесаря-органика? Он напивается с приятелями, такими же слесарями, смотрит телевизор. Он ничего не читает. У него *нет* внутренней жизни! Но внутренняя жизнь — это что-то другое. Она есть у *каждого* человека христианской культуры. Принадлежит ли органик-слесарь христианской культуре? Принадлежит! И не потому что он зачем-то нацепил крест. Если бы на нем не было креста, то он все равно принадлежал бы ей.

Прежде надо все же подробно обосновать, что *невроз* является фикцией. Примем за аксиому, что невротическое состояние отличается от нормального только количественно, а не качественно (об этом писал уже Фрейд: «между условиями здоровья и условиями невроза не существует качественного различия, <...> здоровые люди, скорее, должны справляться с теми же задачами по преодолению либидо, но только им это удастся лучше». Примем также, что нормальное состояние и поведение — это сумма элементарных невротических реакций. Каждый человек чего-то боится (фобическая реакция), каждый человек склонен себя демонстрировать (последнее обосновал А. И. Сосланд в книге «Фундаментальная структура психотерапевтического метода») (истерическая реакция), каждый человек в той или иной мере суеверен и каждому человеку приходится быть поневоле педантичным, например, не опаздывать на работу (обсессивно-компульсивная реакция), у каждого человека может быть плохое настроение (депрессивная реакция), все люди спят (что является каждодневным эквивалентом бреда и галлюцинаций (шизофреническая реакция). Каждой из этих реакций, из которых, в сущности, и состоит человеческая жизнь, соответствует определенная модальность — тип отношения высказывания к реальности. Так, фобическая реакция (испуг) — это аксиология со знаком минус (Акс-), истерическая реакция (демонстративность) — это аксиология со знаком плюс (Акс+), обсессивно-компульсивная реакция (педантизм и суеверие) — это деонтика со знаком плюс (Д+) и алетика со знаком плюс или

минус (могут быть позитивные знаки и негативные), депрессивная реакция — это аксиология со знаком минус (Акс-), шизофреническая — это алетика со знаком плюс или минус (Ал±). Но если бы человек в каждый момент времени проявлял только одну из этих реакций, это было какое-то примитивное существо. (Собаки тоже пугаются, у них тоже может быть плохое настроение и т. д.). Если бы человек только боялся или только не опаздывал на работу и т. д., это был бы не человек. Люди сложны, они могут проявлять сразу несколько реакций или одну за другой в очень краткий промежуток времени, то есть почти одновременно. Вот человек просто идет по улице. Он задумался, мимо резко проехала машина и испугала его (фобическая реакция). Он подумал: «Господи, пронесло! Ведь могла бы и задавить!» И мысленно перекрестился (обсессивно-компульсивная реакция). Тут он увидел беременную женщину и подумал, что это к удаче (обсессивно-компульсивная реакция), но тут же он вспомнил свою жену, которая не может иметь детей, и у него испортилось настроение (депрессивная реакция), он подумал тогда: «Лучше вообще не жить, только спать «и видеть сны, быть может» (реакция отказа от реальности, шизофреническая). Этот человек — совершенно нормальный. (Другой вопрос, существуют ли вообще такие люди? Мы сейчас этот вопрос не рассматриваем.) Патология начинается тогда, когда происходит то, что Фрейд называл выбором невроза, то есть когда человек склонен реагировать на события только одним из перечисленных способов — то есть либо бояться, либо истерически

рыдать, либо все время навязчиво креститься и так далее. То есть невротическое (в смысле Фрейда) поведение — это обеднение личности в модальном плане. И вот теперь посмотрим такое с точки зрения модальностей, что происходит в классических случаях Фрейда, которые он называл неврозами. Фобия (или тревожная истерия), случай маленького Ганса. У него была фобия больших белых лошадей, и он поэтому боялся выходить на улицу. Лошадь у него ассоциировалась с отцом, и все это было связано с Эдиповым комплексом. Итак, фобия — это фиксация на аксиологической модальности со знаком минус (Акс-) плюс пространственное ограничение (пространство — тоже модальность; она описана нами в книге «Морфология реальности» — клаустрофобия, агарофобия. Второй случай — это конверсионная истерия — Фрейд, случай Доры, которая была влюблена в некоего господина К. (он был опять-таки субститутотом отца). Однажды он поцеловал ее и коснулся (по реконструкции Фрейда) к ней эрегированным членом. После этого у нее началась тошнота. Здесь мы видим аксиологию со знаками и плюс, и минус (с одной стороны, она ужаснулась, но, с другой стороны, ей было приятно) — амбивалентность характерна для всех психических расстройств, и это важно, — и деонтику со знаком минус (безусловно, истерия началась у этой девушки и потому, что она поняла, что произошло нечто недозволенное, поскольку она была воспитана в викторианском духе; можно предположить, что на современную девушку это событие не произвело бы такого болезненного впечатления). Далее — невроз навязчивости (обсессивно-

компульсивное расстройство) — случай человека-крысы. Офицер думал, что если он женится на любимой женщине, его отец (вновь отец!) умрет. Здесь мы видим проявление деонтики со знаком плюс и алетики со знаком минус. Депрессивных расстройств Фрейд подробно не рассматривал. Поэтому представим просто, что у человека умер опять-таки отец, и он него началась тяжелая меланхолия — аксиология со знаком минус. Шизофренический случай Фрейд описал в истории сенатора Шребера, у которого был бред, в котором он считал необходимым совокупление с Богом (отцом!) алетика, деонтика, аксиология, эпистимика. Наша задача — показать, что такой вещи, как невроз, не существует. Существует (то есть логически корректней выделить) трехчлен: нормальное состояние — пограничное состояние — психоз (то, что и психоз — это фикция, будет следующим шагом). Норма с точки зрения модальностей характеризуется тем, что здесь могут присутствовать любые модальные операторы и могут не присутствовать вообще никакие: просто человек сидит и ни о чем не думает. Пограничное состояние это такое положение вещей, когда знак модального оператора изменяется на противоположный или амбивалентный. Например, при истерии все было хорошо, а потом стало плохо, но в то же время и хорошо. Запрет нарушен, человек страдает, но не только не может выбраться и своего страдания, но и получает от него определенное удовольствие (бегство в болезнь, рентность невроза по Фрейду). Обсессия — это когда все было хорошо, но стало плохо, человек мучается от того, что ему хочется жениться, но он не может

нарушить мистический запрет (своеобразная алетическая деонтика), иначе его отец умрет. И, в то же время, бессознательно желает ему смерти, чтобы жениться, чтобы было хорошо. И опять-таки он получает определенное удовольствие от своего страдания. Депрессия это когда было все хорошо, а потом стало плохо, и человек завяз в этом плохом состоянии и тоже уже и не хочет из него выходить (рентный характер депрессии очевиден — можно не ходить на работу и т. д.). Что в этом смысле представляет собой психоз? Это тоже когда все было хорошо, и стало устойчиво плохо, но потом все стало опять хорошо, но уже в другой реальности. Норма это принятие реальности, пограничное состояние это амбивалентное отношение к реальности психоз это отказ от реальности и построение новой бредово-галлюцинаторной реальности. Как же в таком случае может не существовать психоза, или как психоз может стать нормой?

Мы наивно склонны считать, что если у человека бред и галлюцинации, то это психоз. Но на самом деле мы точно не знаем, ни что такое бред, ни что такое галлюцинации. Что такое бред? Это, как говорят психиатры, «неправильное мышление», представление того, чего нет в реальности так, как будто оно есть. Типов бреда есть очень много — бред отношения, бред преследования, бред воздействия, бред величия. Вот главные из них, которые присутствуют на разных стадиях психотического расстройства, которое мы называем шизофренией. Рассмотрим бред отношения. Это такое положение вещей, когда человеку кажется, что все происходящее вокруг, относится к нему. Я вспоминаю пример своего коллеги

психотерапевта Александра Капустина. Он считал, что у него бред отношения. Однажды он шел по улице и услышал, как его зовут: «Капустин!». Он повернул голову и увидел рабочих на лесах, которые чинили дом. Потом он подумал и понял, что ослышался — они говорили «Пропустим». Человеку вообще свойственно думать, что все вокруг в мире относится к нему. Но бред отношения — это иное. Это когда люди разговаривают, а больному кажется, что это разговаривают о нем. Но где гарантия, что они действительно не разговаривают о нем? Другое дело, что когда у человека бред, ему это тягостно, он от этого мучается и страдает. Но человеку вообще свойственно мучиться и страдать. Далее бред отношения может перерасти в бред преследования. Психотик думает: «Если они все наблюдают за мной, значит, они меня преследуют». Мой близкий друг, известный психолог, рассказывал мне такую историю. Они с его другом, теперь известным режиссером, слушали лекцию по психиатрии. Преподаватель говорил о бреде преследования. Тогда будущий режиссер спросил: «А что, если его действительно преследовали?» Ну а что, если его действительно преследовали? Как мы можем отличить случай, когда у человека бред преследования, от случая, когда его действительно преследуют? Многих диссидентов преследовало КГБ, и КГБ было выгодно представлять дело так, чтобы этого человека принимали за шизофреника. Тогда его можно было запереть в психушку и заколоть нейролептиками, и уж в этом случае он действительно превращался в шизофреника. Критерий страдания здесь не работает. Когда человека на самом деле преследуют, он тоже страдает.

Следующий этап — бред воздействия, синдром Кандинского-Клерамбо — человеку кажется, что ему в мозг вкладывают мысли, это нестерпимо мучительно. Какого рода это могут быть мысли? Ему могут внушать, что он очень плохой, грешник или, наоборот, что он избранный Богом. В этот момент у человека обостряется феномен, который Фрейд назвал всемогуществом мысли. Человеку кажется, что он знает будущее, вообще знает все на свете, что на него воздействуют потусторонние силы, которые передают через него важные для всего мира послания. Это случай Даниила Андреева, который сидел в тюрьме и по ночам ему рассказывали и показывали разные странные вещи о трансфизической реальности. На основе этих посланий он написал «Розу мира», одно самых странных и интересных произведений эзотерической мысли. Если бы Даниил Андреев был нормальным, он не написал бы «Розу мира». Хорошо, это доказывает только, что есть такие гениальные люди, которые гениальны благодаря своему психозу. Но так можно зайти очень далеко. Альберт Эйнштейн был тоже шизофреник и его теория относительности, в сущности, очень причудливая концепция. Джеймс Джойс тоже был шизофреником, его «Поминки по Финнегану» очень похожи на бред. Александр Блок, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Антонен Арто, Франц Кафка, Густав Майринк, Карл Густав Юнг, Вильгельм Райх, Фредерик Перлз, Жак Лакан, Людвиг Витгештейн, Жиль Делез, Михаил Булгаков, Даниил Хармс, Александр Введенский, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Андрей Платонов, Сальвадор Дали, Дмитрий Александрович Пригов. О живых умалчиваем. Вся культура,

во всяком случае, вся культура XX века — это культура шизофреников. А нормальные люди — это те, которые читают Дарью Донцову в метро и смотрят по телевизору сериалы. Что такое норма и что такое психоз? Хлебников объявил себя председателем земного шара (это уже бред величия, при котором человек практически не страдает) и писал безумные (заумные) стихи. Что ж, я считаю нормальным скорее Хлебникова, а не тех людей, которые читают Дарью Донцову и смотрят по телевизору ту чушь, которую им впаривают. Где норма и где психоз? Ну, хорошо, но ведь не все великие деятели культуры XX века были психотиками. Например, Фрейд был совершенно нормальным человеком, уважаемым профессором. Но это нам сейчас так кажется. Вся история начального психоанализа была история скандалов и обвинений Фрейду и его ученикам, которых нормальные люди объявляли безнравственным развратниками, потому что они разрушили неприкосновенный миф о золотом детстве и считали, что маленький ребенок — это полиморфный перверт. Это ли не психоз — полагать, что 3–5-летний ребенок только и мечтает о том, чтобы переспать с матерью и убить отца. Мы просто к этому привыкли — Эдипов комплекс, нормально! Вспомним, как во всех примерах неврозов и психозов у Фрейда, которые мы приводили выше, все происходит из-за отца. А еще Фрейд считал, что братья в первобытной орде убили отца и съели, и так началась цивилизация. Это «Тотем и табу», книга, над которой смеются даже сами психоаналитики. У Фрейда рано умер отец, и смерть отца была для него сверхценной идеей. А что такое сверхценная идея? Это то, что организует

паранойяльное мышление. Да, у Фрейда не было бреда и галлюцинаций, как у Юнга (или мы этого просто не знаем). Но то, что Фрейд был уважаемым профессором, был лишь его фасад, Персона, ложная личность.

Мы хотим обосновать гипотезу, в соответствии с которой нет ни невроза, ни психоза, а есть только пограничные состояния. В культурном смысле идея, что психоза не существует, потому что культура (во всяком случае, культура XX века) психотична, вполне обоснована. Но как быть с теми психотиками, простыми людьми, которые месяцами или даже годами лежат в больнице, делают под себя и никаких гениальных мыслей у них не возникает? Можно ли применительно к этим, стопроцентно больным людям сказать, что психоза не существует? Здесь возможны два соображения. Рональд Лэйнг считал, что шизофрения — это по большей части притворство. Больные играют в психотиков, когда приходит врач в палату, как симулянты в «Золотом теленке». Лэйнг не отрицал, что существует шизофрения, но он понимал ее как другое мышление. К тому же, как и Кречмер, Лэйнг четко не разграничивает в своей книге шизоидов и шизофреников — все это люди с расколотым Я — то есть это блейлеровская концепция шизофрении как амбивалентности, схизиса, а мы показали выше, что она не выдерживает критики. Другое соображение касается гипотезы Тимоти Кроу (1997), который считал, что все люди — шизофреники по природе, что это наследственная болезнь *homo sapiens*. Что это нам дает? Кроу не утверждал, что все люди психотики, но из его гипотезы следует, что у каждого человека есть зерно

шизофренического психоза. Давайте определимся. Что такое психоз (шизофренический функциональный психоз, об органических психозах мы — пока — не говорим)? Психоз — это острое расстройство психики, при котором происходит отказ от реальности, исчезает Собственное Я, то есть имеет место неразграничение Я и не Я, и происходит регрессия к сознанию младенца = первобытному сознанию. И при этом, что очень важно, психоз — это такое состояние, когда вокруг человека, как он чувствует, нет ни одного хорошего объекта. Последнюю мысль подробно обосновал Вейкко Тэхкэ в книге «Психика и ее лечение: Психоаналитический подход». Но каждый из фрагментов этого понимания психоза можно подвергнуть критике. Что такое отказ от реальности, или, говоря современным языком, отсутствие тестирования реальности, если реальности не существует. Но как же так ее не существует? Ее не существует в философском смысле, она иллюзорна, по буддизму, или вторична, по Платону и его последователям, например, Декарту и Гегелю. Это совсем не то, что утверждать, что реальности не существует в житейском смысле. Вот я сижу за компьютером и пишу книгу. Все существует: и я, и компьютер, и небо за окном. Но все это существует, пока «я мыслю», то есть пока я за этим наблюдаю. Реальность не существует без наблюдателя. Но когда Фрейд говорил, что психотик отказывается от реальности, он имел виду, что тот отказывается от реальности без наблюдателя. Мнение, что такой реальности не существует, разделяют и современные физики. А если он отказывается от реальности с наблюдателем, то это ничем

не отличается от того, что он просто засыпает и временно существует в выдуманной реальности, которая неотличима от психотической. Можно сказать, что психотик — это человек, который всегда спит. Но Гурджиев считал, что все люди спят. Почему я должен доверять клиническим психиатрам, которые ничего не понимают в философии, а не Гурджиеву (который ничего не понимал в клинической психиатрии). Я занимаюсь философией психиатрии, и доверять приходится только логике. Итак, критерий отказа от реальности не работает. Гораздо более серьезный критерий — это неразграничение Я и не Я и регрессия на стадию младенца, на параноидно-шизоидную позицию в терминах Мелани Кляйн. Но все равно, как писал Тэхкэ, такого психотика нельзя кормить с ложечки, потому что он продолжает оставаться взрослым человеком. То, что он становится, как ребенок — это некая клиническая метафора. Будьте, как дети. Иисус тоже не призывал к тому, чтобы взрослые люди превращались в младенцев. А к чему он призывал? Я думаю прежде всего к детской искренности, отсутствию стереотипов, того, что Юнг называл Персоной, а Гурджиев (и, кстати, Лэйнг тоже) — ложной личностью. Ведь что Иисус имел против фарисеев? Он не говорил, что их учение ложно. Он говорил ученикам: «Что они говорят, делайте». Фарисеи так же, как и Иисус, верили в воскресение и загробную жизнь, и среди них были порядочные и честные люди, например, Никодим. Иисус был против их «лицемерия», то есть мелочной показной обрядности (то есть, в сущности, против того, в чем потом Толстой обвинял христианскую церковь). Но дети-то как

раз и есть психотики или, по меньшей мере, потенциальные психотики — полиморфные перверты. Что значит не отличать Я и не Я, если у человека нет постоянного Я (по Гурджиеву), если всякий человек диссоциирован, сейчас он хочет одного, потом другого, или одного и другого одновременно. «Есть хочется, худеть хочется» — это не слова шизофренички Элен Вест, а вполне здорового сангвинического персонажа фильма Никиты Михалкова «Раба любви», которого играет Калягин. Что значит, что в психозе нет ни одного хорошего объекта? Здесь я, скорее, не согласен с Тэхкэ. Если психоз понимать как следствие неудавшихся отношений ребенка с матерью, как он это понимает, то сколько есть «невротиков», то есть нормальных людей — мизантропов, человеконенавистников. И потом сколь бы плоха ни была шизогенная мать, даже у детей — тяжелых ранних аутистов есть хорошие объекты, например, какие-то механизмы или провода, как у мальчика из книги Бруно Беттельхейма «Пустая крепость», посвященной раннему аутизму. Мне кажется, что при полном отсутствии хорошего объекта человек просто бы умер. Но, если я прав и нет ни невроза, ни психоза, то что же тогда есть? Есть пограничные состояния. Пограничные между чем и чем? Между нетворческой нормой («нормозом» (Игорь Кадыров) или «нормопатией» (Джойс МакДуггал) и творческим состоянием, между спящей машиной и совершенным человеком. Что это значит конкретно?

Когда мы говорим, что невроза и психоза не существует, мы, конечно, тоже употребляем слово «существует» метафорически. Конечно, они не существуют в том,

смысле, в каком существуют дерево и трава. Невроз и психоз — это просто слова, придуманные людьми, причем сравнительно недавно, в XIX веке. Просто мы считаем, что их применение не адекватно отражает то, что происходит с психически нездоровыми людьми. Это понятно. Но если мы полагаем, что понятие пограничного состояния, напротив, отражает положение дел адекватно или, во всяком случае, более адекватно, то мы должны показать, что между тем, что традиционно называют психозом, прежде всего шизофренией, с одной стороны, и тем, что традиционно называют невротами, то есть прежде всего истерией, obsессией и депрессией, нет принципиального различия. Легче всего это показать на примере obsессии. Что такое obsессивно-компульсивное расстройство? Это такое положение вещей, когда человек совершает бессмысленные действия (компульсии) или повторяет бессмысленные выражения (obsессии), которые снижают его тревогу. В понимание невроза навязчивых состояний входят две модальные сферы: деонтика со знаком плюс (педантизм) и алетика со знаком минус («Если я женюсь на этой женщине, мой отец умрет»). Педантизм — это *особенность* невроза навязчивых состояний. Чудесное, алетика это то, что тесно связывает его с шизофренией. Психотик на стадии реституционного бреда всегда живет в сфере чудесного — общается с Богом, как Шребер, или считает самого себя Богом, как Ницше, или строит фантастические концепции мироздания, как Даниил Андреев. В общем, психотик — это всегда мистик. Но и невротик навязчивых состояний — тоже всегда мистик. Ведь что такое

импликация «Если я женюсь на этой женщине, мой отец умрет»? Это *магическая* импликация, практически то же самое, как когда человек прокалывает иглой фигурку врага и враг после этого умирает. Это магия. Но психотику нет нужды прибегать и к магии, в его фантастической реальности уже нет вообще никаких, пусть даже фантастических логических операций. Все совершается само собой — отец умирает, потом воскресает, в общем, все происходит, как во сне. Значит, все-таки отличие есть. Конечно, есть, мы и не утверждали, что обсессия и шизофрения — это одно и то же. Мы утверждаем другое: что ни обсессия не является неврозом, ни шизофрения — психозом. Мы стараемся показать их близость, а не тождество. Если же в двух словах обрисовать различие между обсессивной магией и шизофренической верой в потусторонние силы, то это различие и будет заключаться в этих двух ключевых словах — магия и вера. Магия — это когда манипулируют с объектами, прибегая к потусторонней силе нечистого, дьявольского характера. Вера — это вручение себя Богу. С Богом нельзя заключать договор, его можно заключать только с чертом. Но это не значит, что психотик всегда себя вверяет божественной силе, а обсессивный однозначно заключает договор с дьяволом. Например, «психотик» Адриан Леверкюн заключил договор с чертом, а «обсессивный невротик» Человек-Волк отождествлял себя с Христом. Шизофрения и обсессия вообще тесно переплетены. Когда Фрейд в «Тотеме и табу» говорил о первобытном мышлении, прежде всего о системе табу, и связывал ее с неврозом навязчивых состояний, он был

совершенно прав. Но при этом он не заметил противоречия, о котором мы уже писали выше: что первобытное сознание, скорее, психотично, а не обсессивно, и если в нем есть обсессивно-магические черты, то все равно называть первобытных людей невротиками нелепо, а психотиками — и нет, недаром психоаналитики так и говорили, что шизофренический психоз — это регрессия на стадию первобытного мышления. Я думаю, чтобы прояснить дело окончательно, следует вернуться к гипотезе Кроу. Если каждый человек — хотя бы немного шизофреник, если у него есть шизофренический ген, то слово «шизо-» может быть употреблено применительно к каждому психическому расстройству. Сейчас я делаю более сильное утверждение, в соответствии с которым существуют *только* шизорасстройства — шизоистерия, шизообсессия, шизодепрессия, шизопаранойя и шизо-шизофрения, и все они представляют собой пограничные расстройства. Слова же «истерия», «обсессия», «депрессия», и даже «паранойя» и «шизофрения» означают нормальных людей. Но это вроде бы противоречит гипотезе Кроу, в соответствии с которой *все* люди так или иначе шизо-. Но Кроу в указанной выше статье писал (на наш взгляд, справедливо), что психические расстройства, в частности, МДП и шизофрения, не четко отграничены друг от друга, а представляют собой континуум. На одном конце этого континуума находятся люди, которых принято называть нормальными, на другом — те, которых принято называть психотиками. Нормальные люди являются шизо- в наименьшей степени, психотики — в наибольшей. Нормальный человек

принадлежит к шизо-, потому что он пользуется арбитрарным языком, где слова не похожи на вещи, которые они обозначают. В этом и состоит суть гипотезы Кроу. Здоровый человек здоров в той мере, в которой может быть здоровым «больное животное», как определил человека Ницше. Поэтому может быть здоровый истерик, здоровый ананкаст, здоровый меланхолик, здоровый параноик и даже здоровый шизофреник (термин М. Е. Бурно.) Но отличие здоровых людей от больных в том, что они могут быть понемножку и тем, и другим, и третьим.

Вернемся к вопросу о том, как происходит взаимопроникновение высшей и низшей реальностей. Мне кажется, это происходит при помощи проективной идентификации, понимаемой предельно широко. Любая коммуникация между кем бы то ни было — это коммуникация между людьми, у которых есть здоровая непсихотическая часть и нездоровая психотическая. Если собеседники хотят, чтобы их коммуникация прошла успешно, то кажется, что они должны общаться только здоровыми частями своей психики. Но в этом случае их разговор будет поверхностным. Мы знаем, чего стоят здоровые разговоры ни о чем. Любое глубокое общение, как мне кажется, должно задействовать психотическую часть личности. Глубина — это как минимум шизоидность (ср. определение этого характера как «замкнуто-углубленной личности в работах М. Е. Бурно). Я вовсе не хочу сказать, что это должен быть разговор двух сумасшедших, но это должен быть разговор, где большую роль играет, во-первых, проективная идентификация, во-вторых, странные объекты и, в-третьих, элементы

идей воздействия. Нормальная реалистическая проективная идентификация имеет место в общении между людьми всегда. В данном случае речь идет о *патологической* проективной идентификации, то есть такой, когда собеседники стараются не контейнировать сообщения друг друга, а возвращать их назад. Как мне кажется, только тогда возможна, к примеру, плодотворная дискуссия. Ведь если один человек, допустим, говорит другому: «Я думаю, что шизофрения — это порча языка», а другой отвечает: «Я полностью с тобой согласен», то это означало бы, что первый вытолкнул свою безумную идею в голову другого, а тот ее благодушно принял, контейнировал, как «достаточно хорошая мать». И на этом их разговор закончился бы, или его пришлось бы начинать заново с другой темы. Но если собеседник не примет идеи своего визави, а скажет, к примеру: «Нет, я думаю, что шизофрения — это не порча языка, а, скорее, радикальное искажение речи», то он тем самым вернет ему его проективную идентификацию назад. Что в этом случае может сделать первый собеседник? Вероятно, он почувствует себя уязвленным, так как его идею не приняли, и начнет воспринимать своего собеседника как странный объект, как противника, старающегося навязать ему свои мысли. Чтобы спасти ситуацию, он должен будет вытолкнуть полученную от второго собеседника идею наружу и вернуть ему обратно, к примеру, сказав «Я думаю, что это не речь и не язык, а речевой акт». Так он спасет свое сознание от интеллектуального посягательства Другого и пошлет вновь ему свою проективную идентификацию, а тот ему ее пошлет

обратно, и так без конца. Я думаю, только так может происходить обмен мнениями, преследующий подлинно креативные эвристические цели, поскольку поиск истины в научном споре — это всегда нечто в определенном смысле психотическое, в том смысле, что он происходит путем взаимного навязывания и отталкивания, носящий характер, во-первых, чего-то часто нестерпимо травматичного для них самих, хотя бы потому, что они понимают, что кроме них самих, по крайней мере, сейчас, их больше никто не поймет. Разговор двух мыслителей (в особенности, к примеру, таких радикальных, какими были Делёз и Гваттари) до тех пор, пока их мысль не станет (если вообще станет) доступной другим людям, а для этого она должна депсихотизироваться, приобрести некую интеллектуальную компромиссность, будет восприниматься как психоз вдвоем. Часто он так и воспринимается философами других направлений.

В ответ на свой фрагмент я получил следующее письмо от Георгия Чернавина.

Вопрос, который меня волнует в данном случае: что значит дать на философский вопрос ответ из области психологии? Ведь сама психология не нейтральна, но покоится на мощных метафизических (т. е. философских) предпосылках. Не значит ли это заместить философию психологией, которая предполагает некоторые сущности: скажем, психику, потому что по правилам дискурса ей положено их предполагать. Не получится, что наше философствование начинается не с нуля, не с начала, а с уже положенных (при

учреждении психологии как науки) метафизических сущностей? Апеллировать к той или иной психологической концепции в философском разговоре — не значит ли это полагать психологию в качестве философии? Такой перенос из одного дискурсивного поля в другое должен быть проговорён и обоснован.

Я могу ответить так. Само письмо Георгия — факт проективной идентификации в мою сторону и, стало быть, доказывает мою правоту. Проективная идентификация с самого начала была философской концепцией, в частности, у Биона. Вообще я полагаю, что такой областью знания, как психология, я не занимаюсь. Я занимаюсь философией психиатрии. В этом смысле я — ученик Лакана, для которого на стоял вопрос, что первично: психиатрия или философия. В семинаре «Психозы» мемуары Шребера служат для него исходной философской базой, потому что для Лакана, повторюсь, психотический опыт более фундаментален, чем норма. А раз он более фундаментален, то вопрос об обосновании приоритета философии психиатрии решается сам собой.

«Что ты хотел этим сказать?» Важно, что взаимопроникающих реальностей не две и не три, а много. Позволю себе цитату из своей книги «Что ты хочешь этим сказать?»:

И вот когда я спрашиваю, что ты хочешь этим сказать, я вхожу в новую серию. — Я пошел за хлебом. (Серия 2) — Что ты хочешь этим сказать? (Серия 2.1) — Потому что в доме нет хлеба.

(Серия 2.2) — Просто хочу подышать свежим воздухом. (Серия 2.3) — Потому что я устал и мне все надоело. (Серия 3). — Ты хочешь этим сказать, что Я должна идти за хлебом? (Серия 3.1). — Просто ты хочешь сказать, что я тебе надоела. (Серия 3.2) — Ты бездарный и никчемный тип. (Серия 4) — Ты хочешь этим сказать, что в доме все держится на тебе? (Серия 4.1) — Нет, ты не должна идти за хлебом (Серия 4.2) — Нет, ты мне не надоела, неправда. (Серия 4.3) — Ты меня оскорбляешь потому, что сама в жизни ничего не доби- лась... но я все равно тебя люблю. Здесь, в этом диалоге важно и ценно, что в духе многомировой концепции Хью Эверетта-Михаила Менского мо- гут быть осуществлены все варианты серий. Вот это, пожалуй, самый важный результат, кото- рый мы получили. **На вопрос «Что ты этим хо- чешь сказать?» можно ответить всё, что угод- но.** Потому что в бессознательном все равно всему, все связано со всем и все зацеплено за все. Когда жена говорит мужу, что он самый бездарный и никчемный человек на свете, возможно, ей не до- стает смелости просто поблагодарить его за то, что он идет за хлебом. (Серия 0). А у него не хвата- ет духу ответить, что он идет за хлебом просто потому, что любит ее. У людей не хватает сме- лости говорить на уровне Серии 0, потому что язык к этому не приспособлен. У него слишком мно- го функций. Язык это бесконечный лабиринт смыс- лов. Люди бессознательно пользуются этим. Если

бы это было не так, то бессмысленной была бы поэзия. Мы всегда хотим сказать не совсем то, что хотим сказать на самом деле. Потому что на самом деле мы не всегда знаем, что мы хотим сказать.

Но истина безумного трансгрессивна по отношению к обыденному повседневному опыту, трансгрессивна и не диалогична. Она тем более трансгрессивна, чем более тяжелым является психическое расстройство, и тем менее диалогична, чем в большей мере психотик погружается в свои бредовые построения и не хочет рассказывать о них миру. Однако чрезвычайно часто бывает, что это не соответствует действительности, и тогда возникают «Мемуары нервнобольного» Даниэля Шребера, пророческие трактаты об устройстве ада Эммануэля Сведенборга, «Роза мира» Даниила Андреева, психотическая поэзия Хлебникова и обэриутов.

В своей полной трансгрессии по отношению к миру повседневного опыта безумный пользуется придуманным «базовым языком» (термин Шребера). Бредовый язык может быть совершенно непонятным здоровому сознанию в силу своей галлюцинаторной обусловленности и, стало быть, асемиотичности (или постсемиотичности) — знаки здесь не подкрепляются никакими денотатами. Безумный язык может быть также полностью редуцирован до молчания, потому что безумная истина может полагаться невыразимой ни на каком языке. Это сродни установке раннего Витгенштейна с последним тезисом его «Трактата»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Ср. также его

знаменательные слова о том, что «люди, которым стал ясен смысл жизни после долгих сомнений, все-таки не могли сказать, в чем этот смысл состоит». Здесь встает вопрос о соотношении среднего «никакого» языка, на котором говорят в повседневном «никаком» мире, и базового безумного пост-языка. Безумный писатель, художник философ или ученый может пойти на компромисс и начать говорить с миром, тогда он должен скорректировать свой безумный язык и приспособить свою безумную истину к повседневному языку и повседневному опыту. Обычно в этом случае безумный попадает на ту же иллюзию, что и нормальный средний человек, иллюзию представления о том, что некий общечеловеческий язык *существует*, то есть существует в том смысле, что он может быть лишен каких бы то ни было патологических или характерологических черт. Такого языка не существует, так же как не существует «никакого» нейтрального мира.

Чем более значительную истину хочет сообщить человек, тем более характерологичным и патологичным является язык, которым он пользуется. Если сравнить язык, на котором говорят «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода» с языком «Улисса» и «Поминонок» Джойса, «Шума и ярости» и других романов Фолкнера, языком Платонова и Мандельштама, то ясно, что любое мало-мальски значительное послание ближе к безумию, чем к повседневности. То же самое может быть сказано о языке «Логико-философского трактата» Витгенштейна, «Бытия и времени» Хайдеггера, языка произведений Гуссерля и Деррида, Лакана и Делёза — этот

язык в той или иной мере приближается к базовому безумному языку, и понимать его обыденному сознанию чрезвычайно трудно. Однако опыт повального увлечения такими философами, как Деррида и Лакан, говорит о том, что безумный язык зачем-то нужен более или менее обыденному сознанию, что он все же не полностью трансгрессивен по отношению к нему.

Для чего же нужен компромисс между невнятной и почти невысказываемой безумной сакральной истиной и повседневной «никакой» иллюзией? Этот вопрос равносителен вопросу о том, для чего нужна культура, поскольку фундаментальная культура в целом и есть осуществление этого компромисса. Человеческий язык в целом представляет собой продукт шизофренического начала в развитии *homo sapiens*, как показал, в частности Т. Кроу, согласно гипотезе которого конвенциональный язык людей — это в принципе шизофреническое явление. Сознание человека патологически расщеплено на культурное и природное начала.

Для того чтобы существовать и развиваться в качестве уникального биологического вида, человеку недостаточно «никакого» языка, на котором можно сообщить «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода». Если бы люди на протяжении своего развития делали только такие сообщения, то культура бы вообще не возникла, и человек не состоялся бы как особый биологический (надбиологический) вид. Более того, если бы не было безумного шизофренического языка, то не было бы и нейтрального «никакого» языка. Если бы человек не развил культуру, если бы не было первого закона Ньютона, вто-

рого начала термодинамики, теории относительности Эйнштейна и принципа дополнительности Бора (которому, кстати, принадлежит знаменитое и знаменательное применительно к нашей теме высказывание: «Все мы видим, что перед нами совершенно безумная теория, вопрос состоит только в том, достаточно ли она безумна для того, чтобы быть истинной»), так вот если бы этого всего не было, то парадоксальным образом не был бы возможен нейтральный бытовой язык, на котором говорят «Я пошел в кино» и «Сегодня хорошая погода». Безумный язык и безумные теории в пределах развития человеческой культуры более фундаментальны, а бытовой язык произведен от них. Для того чтобы можно было и нужно сказать «Я пошел в кино» необходимо, чтобы существовало кино — продукт развитой культуры. Для того чтобы можно и нужно было сказать «Сегодня хорошая погода», необходимо, чтобы сформировалось культурное представление о погоде (волки в лесу не интересуются друг у друга, «какая сегодня погода», им это не нужно). В определенном смысле можно сказать, таким образом, что не безумие производно от нормы, а норма производна от безумия, и в этом состоит неразрешимый парадокс человеческой культуры и человеческой мысли.

Георгий Чернавин задал мне в письме такой вопрос: «...ты пишешь, что бредовые построения психотика часто «не соответствуют действительности». Какого рода действительность имеется в виду? (1) Материальная реальность, данная нам в ощущениях, или (2) какая-то другая? Если (1), то именно эта позитивистская предпосылка мне всё время видится стоящей

за философией психиатрии («мы — люди в мире», «мир есть в действительности»); а если (2), то очень важно уточнить: какая именно другая?» Действительно, от какой реальности отказывается психотик? За этим вопросом стоит другой. Что значит не «тестировать реальность»? Если у параноика бред отношения и ему кажется, что все обращают на него внимание, то в его бредовом мире, в его феноменологической реальности все *действительно* обращают на него внимание. И инопланетяне в феноменологической реальности персекуторного психотика *действительно* его преследуют. Эти соображения подтверждает известный психиатрический анекдот. Когда мегаломана на детекторе лжи спросили, Наполеон ли он, и он ответил, что он не Наполеон, полиграф показал, что он солгал. В определенном смысле бредовая реальность является более подлинной, чем реальность, данная нам в ощущениях, так как эти «ощущения» часто лгут и полны условностей. Это то, что мы называем согласованным бредом.

Возникновение подлинного бреда представляется правомерным описать как прорыв Реального Лакана в символическую цепочку бреда согласованного. Реальное — один из важнейших и не до конца понятных концептов «французского Фрейда». Насколько нам известно, он нигде не дает четкого определения того, что такое Реальное, да это, по-видимому, и невозможно, поскольку оно по большому счету несимволизируемо. Приведем фрагмент книги интерпретатора Лакана Виктора Мазина, где понятие Реального объяснено сравнительно ясно.

Лакан выводит понятие «реальное» из гетерологии Батая, в котором речь идет о неассимилируемом, отбросах, остатках, о том, что всегда находится за пределами человеческого знания. Лакан определяет реальное как остаток, а потом и как невозможное. Реальное — своего рода несимволизируемый остаток, что остается невысказанным. Реальное невозможно. Его невозможно вообразить. Его невозможно символизировать. Реальное травматично.

<...> Если символическое — цепочки дифференцированных дискретных означающих, то реальное недифференцировано. Реальное — не реальность. Реальность конструируется за счет воображаемых иллюзий и структур символического. И все же встреча с реальным возможна: нечто не включенное в символическую структуру. При психозах может вернуться в галлюцинации.

В фильме Дэвида Линча «Малхолланд драйв» есть поразительный эпизод такой встречи с Реальным. Этот тот эпизод, где двое обедают в кафе и один рассказывает другому о своем видении монстра, которое явилось ему «ни во сне, ни наяву», что по Биону является одним из основных признаков психоза, когда человек «не может ни заснуть, ни проснуться». В этом видении персонаж фильма видел страшного монстра. Далее он ведет своего друга за угол кафе, где из-за угла действительно появляется этот монстр (в исследованиях этого фильма его принято называть Человек-Овца) при виде которого

герой умирает. Образ Реального также дан в финале сериала Линча «Твин Пикс», где агент Купер бродит в лабиринтах «Черного Вигвама», где внутреннее переходит во внешнее (что также является признаком психотического мышления). Квинтэссенцией Реального в «Твин Пиксе» является сексуальный монстр Боб, который вселяется в Лиланда Палмера и принуждает его изнасиловать и убить свою дочь Лору. После выхода агента Купера из Черного Вигвама Боб вселяется в него. Реальное это, конечно, вбегающий мертвый господин в «кругом, возможно, Бог» Александра Веденского или мертвая старуха (= «пиковая дама») из повести Даниила Хармса. В русской литературе наиболее впечатляюще работает с Реальным Владимир Сорокин, почти в каждом из ранних рассказов которого, особенно таких, как «Кисет», «Свободный урок», «Деловое предложение», «Обелиск», «Заседание завкома», а также в романах «Норма», «Роман», и «Месяц в Дахау». Здесь, как правило, в ложный согласованный бред советского дискурса врывается подлинный бред Реального.

Человек не в состоянии справиться с тотальной текучестью и противоречивостью подлинного ноуменального положения вещей, поэтому он и оперирует понятиями истинного и ложного. С противоречиями подлинной ноуменальности может справиться только шизофреник, для которого возможно высказывание «Я такой же человек, как и вы, и я не такой человек, как вы (известный пример Э. Блейлера) или «Вбегает мертвый господин». Поэт и мыслитель Антонен Арто, который был шизофреником, придумал концепт «тело без органов», который

затем развили Делёз и Гваттари в своем *шизоанализе*. Понять этот концепт на уровне разграничения истинного и ложного невозможно. Он имеет практически такой же статус, как круглый квадрат. Истинность и ложность даны нам в нашем языке, сквозь который мы смотрим на реальность. Только на уровне речевой деятельности в рамках согласованного бреда человек пользуется этими понятиями. Но они являются такой же иллюзией нашего сознания, оперирующего знаками (именно сознания, а не бессознательного, в котором нет знаков и, стало быть, нет и истины и лжи), как пространство и время в кантовском понимании. Киркегор писал, что «истина мыслится как форма психического состояния личности (цитируется по статье «Истина» в энциклопедии «Постмодернизм», С.342), то есть она в принципе субъективна. Можно даже сказать что нашем феноменальном мире *подлинно истинным является только одно — тот факт, что мы что-то* говорим, но не то, о чем и как мы говорим. Человека в этом смысле можно определить не столько как мыслящее, сколько как говорящее животное. Перефразируя знаменитые слова Декарта, можно сказать: «Я говорю, следовательно я существую». (Впервые, насколько я знаю, человека как говорящее животное определил Лакан.) Но человек говорит, ориентируясь на иллюзию истинности и ложности. Понять же, что истинность и ложность — это иллюзии, оставаясь в рамках языка, а другого способа изложения мыслей у нас нет, будет противоречиво, так как мы будем *говорить* об иллюзии истины, находясь в самой этой иллюзии и пользуясь ею, поскольку мы *говорим*.

Предложение, якобы описывающее реальность, поскольку оно является скрытым перформативом, просто совпадает с тем фрагментом реальности, который, она, как нам кажется, описывает. То есть тот факт, что Майкл сейчас идет по улице это и есть предложение «Майкл сейчас идет по улице», потому что если никто не говорит, что Майкл идет по улице, наблюдая за ним, эта реальность не существует, как не существует элементарных частиц вне их наблюдения в соответствии с расширенным пониманием принципа неопределенности Гейзенберга. А. М. Пятигорский такую позицию назвал обсервативной, то есть наблюдающей философией. Представим себе, что Майкл сейчас идет по улице. И при этом мы не употребляем никаких слов. Это невозможно, потому что **мы** придумали реальность, а не реальность придумала нас. В соответствии с этим в рамках новой модели реальности мы говорим, что реальность — это наррация. Вот Майкл идет по улице. Реальность рассказывает нам об этом. Но зачем она рассказывает об этом? Если Майкл просто идет по улице, это никому не интересно, а если это никому не интересно, то этого факта просто не существует. А если он все-таки существует, то только потому, что это кому-то интересно: «Куда идет Майкл? Откуда он идет? Какие у него планы? **Что будет дальше?**» Подчеркнутый нами вопрос — это основной вопрос, который мы задаем, когда читаем книги, смотрим фильмы и так далее. Это основной вопрос нарративной онтологии. Мы понимаем наррацию предельно широко. Мы считаем нарративной и фортепианную сонату Бетховена, и матерную ругань алкоголика под окном. По-нашему

мнению самая абстрактная картина тоже нам о чем-то рассказывает, например, «Чёрный квадрат» Малевича. О чем же нам рассказывает «Чёрный Квадрат»? Что будет дальше? Очевидно, смерть, черная дыра смерти. Но если любая часть реальности нарративна и описывается предложениями, которые не являются ни истинными, ни ложными, то стирается грань между реальностью и вымыслом. Если все предложения языка лишены истинностного значения, это равносильно тому, что высказывания о реальности, которые сами, как мы показали, являются фрагментами реальности), вымышленные предложения и бред сумасшедшего ничем не отличаются друг от друга — они все не имеют к истине никакого отношения. Я полагаю, что все виды речевой деятельности представляют собой некий текучий континуум, а не противопоставлены четко друг другу. Возьмем предложение «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная несчастлива по-своему». Имеет ли это высказывание отношение к истине? С точки зрения обычной онтологии имеет. Но ведь оно является первой фразой «Анны Карениной», огромной вымышленной наррации. В то же время это предложение само по себе не является вымыслом, его можно представить как некую моральную сентенцию. Но его можно представить и как бредовое высказывание. Например, один человек говорит другому: «Какая прекрасная погода!» Другой отвечает: «Все счастливые семьи похожи друг на друга...» — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что меня преследуют инопланетяне. Подобно тому как значение любого слова меняется в зависимости

от контекста, точно так же в зависимости от контекста меняется значение любого высказывания. «Значение есть употребление» (Витгенштейн). Бытовой дискурс, вымышленный дискурс и бредовый дискурс — это разные языковые игры (формы жизни). Но безумец тем отличается от нормального человека, что способен играть в разные языковые игры одновременно. Когда он говорит «Все счастливые семьи похожи друг на друга, то непонятно, что он имеет в виду — цитату из «Анны Карениной», моральную сентенцию или он просто не знает сам, что говорит. Я думаю, что и то, и другое, и третье. Мы, нормальные люди, живем лишь в одном из множества возможных миров, который мы называем действительным миром. Безумец живет в мультиверсе. Если и есть какой-то смысл в понятии истины, то на она имеет форму дизъюнктивного синтеза (термин Делёза): или и первое, или и второе, или и третье. В этом смысле безумец пребывает в истине, как электрон в квантовой суперпозиции, зависший перед осуществлением одной из возможностей своей траектории. Нормальный человек осуществляет всегда одну из возможностей в точке бифуркации или полифуркации. Безумец выбирает сразу все возможности. Это и есть подлинный бред. Только во всей совокупности контекстов можно понять речь безумца. Поэтому когда мы говорим о бреде как о бессознательной наррации, мы исходим из того, что в бессознательном все протоязыковые игры существуют одновременно. В этом смысле художественное произведение ближе к безумию, потому что оно также может реализовать сразу несколько контекстов. Так, упомянутое начало

«Анна Карениной» является одновременно и моральной сентенцией, и прологом ко всей наррации, которая из него вылупливается, как из яйца. Но художественный дискурс ближе к бреду еще и потому, что он не обременен иллюзиями истинностных значений. Мы читаем про Анну Каренину и Вронского, зная, что их никогда не существовало на свете, что лишь помогает нашему сугубо нарративному интересу: что с ними будет дальше? Но не стоит при этом напрочь отрицать значение концепта истины, вернее, иллюзии истины в нарративном дискурсе. Это все равно, как сказать, что черного и белого не существует. Может, объективно их и не существует, но они помогают нам ориентироваться в пространстве. Любая наррация является игрой между истиной и ложью, правдой и надувательством. Ольга Фрейденберг писала:

Мы говорим: «Он сказал, что...»; античный человек говорил: «Он сказал, как будто...» <...> то, о чем повествует или с чем сравнивается, одинаково не достоверно («кажется»). Картина сравнения или рассказа повествующего не есть нечто подлинное, а только <...> «фикция», — <...> Рассказ — это то, чего нет в действительности, это ее подобие, заведомый вымысел.

Но что же получается? Получается, что для того, чтобы выразить высшую истину и реальность, обязательно быть сумасшедшим? Это, безусловно, не так. Такие как судья Шрёбер — исключения. Такие как Антонен Арто — тоже исключения. Много сумасшедших тихо сидят по дурдомам и не выдают никакой высшей реальности.

*А шизофреники та вяжу венки,
А параноики играют в нолики.
А которые просто нервные,
Те спокойным сном спят, наверное.* (Александр Галич)

С другой стороны, есть гениальные произведения искусства, которые совершенно не несут в себе никаких следов психопатологии. Например, «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Стихотворение, которое мы в начале нашего исследования выбрали эталоном реальности, в которую мы верим. Вспомним это стихотворение.

*На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.*

Где здесь психопатология? Да, печаль. Но светлая. Совершенно синтонное стихотворение. Поневоле на миг согласишься с теми наивными психологами и характерологами, интерпретаторами Пушкина, которые считали его синтонным писателем в целом. Это, конечно, не так. И можно привести много аргументов против этого. Может быть, на «Холмах Грузии...» — это исключение? Может быть.

Реальность и мышление

*Но все-таки я крепко убежден,
что не только очень много сознания,
но даже и всякое сознание болезнь.
Достоевский. «Записки из подполья»*

1. По Биону, мышление — это когда нет вещи. Но что значит нет вещи? В определенном смысле ее нет никогда. Вокруг себя я вижу много вещей — книги, компьютер, гипсовая голова Сократа. Но это не вещи, это факты. Вещь сама по себе не существует вне факта, как слово не существует вне предложения и языковой игры. Во всяком случае, так считал Витгенштейн в «Трактате». Что из этого следует? Что мир окутан мыслями? Не совсем так. А что же? Наличие фактов — лишь предпосылка для возникновения мышления. Необходимое, но не достаточное условие. Что значит декартовское «Я мыслю, следовательно я существую»? Что за пределами мысли ничего нет? Нет реальности? Не совсем так. А что же? Мышление более фундаментально, чем реальность, мышление создает реальность и подчиняет ее себе. Что значит создавать реальность? Создавать реальность из мыслей? Не совсем так. А что же? Как соотносятся мысль и факт, мысль и предложение? Что мы можем сказать по поводу витгенштейновского «Мысль есть осмысленное высказывание»? Не все сразу. Как можно

создать реальность из мыслей? Он подумал о том, что... и оно возникло. Как оно возникло? Из чего оно возникло? Из ничего? Не совсем так. А из чего же? Из самого себя. Как это понять? Мысль рождает мысль. Мысль рождает не слово, а высказывание. Но зачем все это? Бион по этому поводу высказывается вполне однозначно. Чтобы преодолеть фрустрацию. Как мышление преодолевает фрустрацию? При помощи мыслей, разумеется. Фрустрация же возникает как раз тогда, когда нет вещи. Самой главной вещи на свете. Для грудного ребенка это материнская грудь. Ребенок может просто бессмысленно кричать, когда грудь «ушла», как бы сказал фолкнеровский Бенджи Компсон. Но так фрустрацию не преодолеть. Для этого нужна мысль. Но как младенец может мыслить, если он еще не знает не только ни одного предложения, но ни одного слова? При помощи механизма проективной идентификации. Что это значит? Это значит, что крик его не является бессмысленным. Это примитивная истерическая реакция — зов о помощи. Вот здесь мы подходим к самому главному. Первое. Почему-то в психоанализе считается, что истерия закреплена за Эдиповым возрастом. Даже Мелани Кляйн не пришло в голову, что первый крик младенца, возвещающий о его появлении на свет — это истерическая реакция. И можно сказать, что это и первая мысль, или протомысль. Зов о помощи. Потому что травма рождения очень тяжела. И второе. Отсюда следует, что любое мышление по сути своей патологично. Всякая мысль патологична, потому что человеку не пришло бы в голову мыслить, думать, если бы у него все

было в порядке. Думать человек начинает, когда что-то не так. А что не так? Да все не так. Прежде всего, вещи не похожи на слова, а факты не похожи на предложения. Вещей нет — не забудем, что именно с этого начинается мышление. Грудь ушла! Почему она ушла? Задается ли младенец ответом на этот вопрос? Мы не знаем этого. Мы видим только, что он смеется, когда ему хорошо, и плачет, когда ему плохо. Так почему она ушла? Она его так воспитывает. Это тоже входит в программу осуществления проективной идентификации. Уйти, а потом вернуться. Так почему же мышление патологично?

2. Мысль находится на границе внутреннего и внешнего (Г. Фреге). Внутреннее это бессознательное, это еще не мысль. Внешнее это реальность, это уже не мысль. Когда бессознательное соприкасается с реальностью, на их границе возникает мысль. Таким образом, мышление это есть нечто пограничное. Любая ли граница между реальностью и бессознательным обозначает психическую патологию? И что тогда психическая норма? Это когда человек не думает. Плышет по течению. Бессознательное его никак не соприкасается с реальностью. Такой человек как бы спит без сновидений. Он является живым лишь формально. Он идет на работу. Гуляет, пьет пиво, смотрит телевизор, спит с женой. Это *homo normalis*, по В. Райху. Таких людей большинство, и их становится все больше и больше. Человек деградирует от психической патологии к норме. То есть к животному. Человек задуман как существо слегка безумное, но таковым он стал не сразу. Шизофренический

ген, по Тимоти Кроу, развивался по мере того, как развивался человеческий язык. Мышление и язык — это по сути одно и то же. Выходит, язык — это тоже патологическое явление? Так можно слишком далеко зайти. Но арбитранность языка, по тому же Кроу, то есть тот факт, что его знаки не похожи на означаемые, как раз свидетельствует о патологии. Если бы это было не так, если бы, например, фраза «Я пошел в магазин» была похожа на факт, что он пошел в магазин, то само произнесение этой фразы совпадало бы с тем, что он пошел в магазин. А это не так. Поэтому мы можем сказать, что мы живем в каком-то вымышленном мире. Но мы сейчас говорили о языке, а не о мышлении. Действительно ли это одно и то же? Можно ли, например, сказать, что язык находится там, где нет вещи? Нет! Я смотрю на девушку и говорю — вот это очень красивая девушка. А можно ли мыслить в присутствии вещи? Нет! Что такое вообще мышление? Мышлением мы будем называть манипулирование арбитранными знаками с тем, чтобы преодолевать фрустрацию. Что такое фрустрация? Это экстремальное состояние психики, которое трудно терпеть. Оно сводится генетически к отсутствию хорошей груди (Бюн). То есть мышление связано с отсутствием вещи. Или, как писал Бинсвангер, с «невозможностью безмятежно пребывать среди вещей». Так он определял — шизофрению! Но разве нельзя подумать о вещи в присутствии этой вещи? Вот я смотрю на девушку и думаю про себя: «Какая красивая девушка!» Но это не мысль. А что такое мысль? Мысль — это такая точка в психике человека, которая

при переходе из внутреннего состояния психики во внешнюю реальность превращается в осмысленное высказывание. Мышление, таким образом — это переход из внутреннего во внешнее. Этим и определяется его пограничность, то есть психопатологичность. Но **что** психопатологичного в переходе из внутреннего во внешнее? Диалектика внутреннего и внешнего — это диалектика невроза и психоза. Невроз — это такое положение вещей, когда субъект внешнее воспринимает как внутреннее (интроекция), а психоз — это когда он внутреннее воспринимает как внешнее (проекция). Наиболее зрелой мыслью является шизоидная мысль, отрицающая предыдущую шизоидную мысль. Наименее зрелой мыслью является истерическая мысль.

3. Таким образом, мы считаем патологическим только эвристическое мышление, хоть в какой-нибудь степени новаторское. В качестве примера приведем афоризм 1.1 из «Логико-философского трактата» Витгенштейна: «Мир есть совокупность фактов, но не вещей». По Витгенштейну, реально существуют не вещи, а вещи в их соединении с другими вещами: это и есть факты. То есть вещей по отдельности как бы и не существует вовсе. Разве не патологической выглядит эта мысль? в то же время, нельзя отказать ей в оригинальности и правильности. Действительно, разве существует это дерево просто как дерево? Не правильнее ли сказать, что существует то, что это дерево растет возле моего дома, что это дерево очень старое, что это дерево — дуб и т. д.? Именно среди этих фактов и существует дерево.

Как слово (имя) реально функционирует не в словаре, а в предложении (и это тоже один из ключевых тезисов «Трактата»), так и вещь, денотат имени, реально существует не в семантическом инвентаре мира, а в живом факте. Когда мы думаем про дерево, мы думаем всегда о том, что он либо большое, либо молодое, либо сухое, либо зеленое. Просто «дерево» — такая же пустая абстракция, как «круглый квадрат». Отсюда следует, что любое мышление предикативно. Мышление — это высвобождение. В случае витгенштейновского примера это освобождение, преодоление фрустрации, в соответствии с которой мир состоит из вещей. Почему мысль, что мир состоит из вещей, фрустрировала Витгенштейна? Может быть, потому что в детстве в его доме было очень много (дорогих) вещей. Поэтому нельзя сказать, что Витгенштейн делает здесь какое-то открытие. В сущности, сказать, что мир состоит из вещей, а не фактов, могло бы быть при других обстоятельствах столь же эвристичной мыслью. Возможно, ее выказал бы философ, в детстве живший в бедности: вещей в доме было мало, а его все время заставляли работать. Вообще мысль (или смысл), будучи довербальной, предшествующей высказыванию, не является ни истинной, ни ложной. Недаром Делёз в «Логике смысла» писал, что у предложений «Бог есть» и «Бога нет» один и тот же смысл. Поэтому мысль о том, из чего состоит мир, из вещей или из фактов, не имеет истинностного значения. Мир состоит в каком-то смысле из вещей, а в каком-то — из фактов. Но последнее предложение не является выражением эвристичной мысли, и поэтому оно

не есть нечто патологичное. Бион писал в книге «Научение через опыт переживания», что «правда это неотъемлемая часть здоровой психики». Возможно, это и так, но если бы мир был бы населен только психически здоровыми людьми, то он не отличался бы от стада баранов.

4. Мысль о том, что эвристическое мышление является патологичным, сама является патологичной. И это хорошо — стало быть, она эвристична. Когда мы с друзьями делали на канале «Культура» в рамках программы «Черный квадрат» передачу «Безумие», руководство канала нам сообщило, что сама передача выглядит безумно. Среди прочих в ней участвовали А. И. Сосланд, Д. А. Пригов и лучший практикующий психоаналитик Москвы Игорь Кадыров, тогда же придумавший термин «нормоз», которым я с тех пор активно пользуюсь с указанием автора. О чем бы мы, закончившие Тартуский университет ни писали, мы всегда пишем «не так, как все». Должен признаться, что в моем случае это влияние даже не столько Ю. М. Лотмана, сколько Б. М. Гаспарова. Итак, о чем бы я ни писал: о времени, реальности, бессознательном, шизофрении, мне во что бы то ни стало хочется сделать это не так, как делали до меня, и не так, как будут делать после меня (поэтому у меня нет учеников). При этом я хочу стать похожим на западного философа горячей культуры (Витгенштейн), но все равно оказываюсь философом русской холодной культуры (Розанов и Виктор Шкловский). Как-то моя «ученица», когда я ей подарил свою 15-ю или 16-ю книгу, сказала мне: «В сущности, ты начинающий автор...»

Пример постмодернистского психоанализа. Мы едем с женой в поезде в Петербург. Она говорит: «Смотри-ка, им официант принес даже красное вино». «Нет, — говорю я, — бокал с красным вином ты только что увидела в телевизоре!» Как легко совмещаются «вымысел» и «реальность», плоское и объемное. Писать, не как все, думать, не как все — это чтобы нас было интересно читать. Ни истинно, ни ложно, а интересно. Любая «научная» философия только тогда имеет успех (у читателя), когда чтение ее захватывает. Пример — все тот же «Трактат» Витгенштейна. Там нет ничего истинного и ничего ложного. Но все очень увлекательно. Если бы я был композитором, я бы написал оперу «Логико-философский трактат». Психиатры говорят об искаженном мышлении психотиков. Так, например, Даниил Андреев в «Розе мира» всерьез утверждал, что Андрей Болконский был сыном Льва Толстого. Эта мысль патологична не в том смысле, в котором я говорю о патологичности эвристического мышления. Она патологична с «клинической» точки зрения, с точки зрения «всех», или тех, кто пишет, «как все». Если бы у Даниила Андреева спросили бы: «Как же вы говорите, что Андрей Болконский был сыном Толстого, ведь у него же был отец — старик Болконский», то он бы мог ответить: «Точно так же вы можете сказать — как же Христос мог быть Сыном Божьим, ведь у него был отец плотник Иосиф». Но если принять точку зрения Даниила Андреева, то получится, что всякий вымышленный персонаж является сыном своего автора. Например, Мойдодыр — это сын Корнея Ивановича Чуковского.

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещения дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг...

5. В концептуализации Биона есть диалектика PS–D. То есть человек все время переходит с параноидно-шизоидной позиции на депрессивную и обратно. На параноидно-шизоидной позиции отсутствуют целостные объекты и господствует влечение к смерти. На депрессивной позиции появляется первый целостный объект, мать, но он утрачивается, потому что, когда мать на время отлучается, ребенок воспринимает это так, что она больше не вернется. Поэтому данная позиция и называется депрессивной. По-видимому, мышление — это нечто, как раз специфически свойственное переходу PS–D. На PS это размышление об утраченном хорошем «куске матери», «хорошей груди», как называла ее Мелани Кляйн. На D это размышление об утраченной матери. В обоих случаях это преодоление фрустрации. Но на позиции PS это еще не настоящее мышление — это довербальное прото-мышление, так как нет субъекта, объекта и предиката, т. е. младенец еще не овладел речью. На позиции D, когда, как ему кажется, мать ушла навсегда, он размышляет уже более зрело: **что** ему теперь делать, **как** вернуть мать. Но, в сущности, она ему уже не нужна. И она бросает его бессознательно-умышленно, чтобы могло развиваться его мышление без вещи — она сама и есть эта вещь. Диалектика PS–D — это как переменный ток. Мы не замечаем этих переходов, а они

совершаются постоянно и во взрослой жизни. Это соответствует тому, что, как считал Бион, в каждом из нас есть психотическая (соответствующая PS) и непсихотическая (соответствующая D) части. Но Бион, каким бы выдающимся мыслителем он ни был, считал, что психоз — это однозначно плохо и что это поломка мышления. Мы же считаем вслед за философской традицией Делёза и Гваттари, что психоз (шизика) соответствует творческой части субъекта, во всяком случае, так сложилось в XX веке. Если бы это было не так, мы не имели ни «Андалузского пса», ни «Поминок по Финнегану», ни «Шума и ярости», ни «Зеркала», ни «Хазарского словаря», ни «Школы для дураков», ни многого другого. *Мысль — это не сама психопатология, а точка перехода PS к D и обратно.* А это, повторяю, переменный ток. Ну хорошо, а комические произведения XX века, например «Двенадцать стульев» или «Веселые ребята»? Где здесь переход от PS к D? Где здесь вообще психическая патология? Но ведь есть разные психические конституции и среди них, так называемые синтонные, жизнерадостные. Вспоминая, например, Дюма-отца, трудно на его примере представить себе параноидно-шизоидную позицию. Ну, это значит, во-первых, что он проходил ее незаметно и безболезненно, а во вторых, какой же Дюма мыслитель? Как говорил Кролик в «Винни Пухе», «когда я говорю "думать", я имею в виду думать».

В основе эвристического мышления лежит отрицание, поскольку отрицание является базовым механизмом защиты шизоида.

У шизотимной личности отрицание выступает как защита Эго против угрожающей реальности, что проявляется в эпистемическом отрицании, но, если так можно выразиться, не самой реальности, как это происходит при психотической реакции, а онтологическо-эпистемических квинтэссенций реальности, ее материальности и независимости от сознания. Поэтому идеализм является естественным философским проявлением неклинического шизотимного или шизотипического мышления. Разве не отрицанием реальности в широком смысле является знаменитый ответ Гегеля на претензии к его системе, что она не во всем соответствует действительности: «Тем хуже для действительности»?

Получается, реальность и мышление противоположны. Конечно, если принятие реальности — это механизм здоровой личности, «безмятежно пребывающей без вещей», то мышление происходит в отсутствие вещей, то есть в отсутствие реальности. Но по Витгенштейну мир (реальность) — это совокупность фактов, а не вещей. Можно ли сказать, что мышление происходит в отсутствие фактов? Можно ли сказать, что психически здоровый человек безмятежно пребывает среди фактов? Философская мысль это пропозиция, которая отрицает предыдущую философскую мысль, ставшую обыденной пропозицией. Например, пропозиция «Время движется из будущего в прошлое» это философская пропозиция, а пропозиция «Время движется из прошлого в будущее» — это обыденная пропозиция, когда-то бывшая

философской. Почему философу нужно отрицать обыденную мысль? Потому что он не доволен обыденностью, *ему нужно сказать что-то новое, чего еще раньше никто не говорил*. Поэтому эвристическое философское мышление, как правило, ошибочно, так как наступит время, когда это философское высказывание станет обыденным и на смену ему придет новый философ с новой ошибочной мыслью, отрицающей эту, когда-то новую, а теперь ставшую обыденной мысль, с тем чтобы со временем пришел новый философ и так же ошибочно стал отрицать эту мысль и так *ad infinitum*.

7. Здесь сразу возникает множество проблем. Мы говорим, что мышление — это психопатологическое явление. Но до какой степени? Острый шизофреник, отождествляющий вещи со словами и факты с предложениями, не может мыслить. Для того чтобы мыслить, нужно чтобы было два мира — мир вещей и мир означающих. У психотика они спутаны. Почему же мы в позапрошлой главе утверждали, что именно психотическая часть человека является творческой? Что такое психотическая часть личности? Бион в статье «Отличие психотической личности от не-психотической» писал:

Отличие заключается в том, что такое сочетание свойств вызывает фрагментацию личности на мельчайшие части, в особенности — фрагментацию аппарата осознания реальности¹ и масси-

¹ То есть мышления. — Прим. автора

роvanную проекцию этих фрагментов личности на объекты внешнего мира.

Эти изгнанные фрагменты начинают жить самостоятельной жизнью, и Бион называет их странными объектами. В сущности, эти остатки психики являются псевдогаллюцинациями, вызывающими бред воздействия. Но бред воздействия существует за пределами ошибки, то есть за пределами мышления. Но не за пределами творчества. Бред — это *прежде всего* творчество. Творчество странными объектами. Психотическое творчество за пределами каких бы то ни было ошибок и какого бы то ни было мышления. Где же кончается мышление? В том месте, где начинается острый психоз. По Юнгу, в этот момент психика затопляется коллективным бессознательным. Психика мифологизируется. На поверхность ее выступают обломки архетипов. Это и есть странные объекты Биона. Но существует хроническое пред- или пост-шизофреническое состояние. Его называют *шизотипическим*, в нем сохраняются осколки (странные объекты), но они семантизируются, превращаются в постмодернистские цитаты и ими становится возможным мыслить. Особенность такого мышления состоит в его нарративности (в смысле моей книги «Новая модель реальности»), то есть в непригодности к верификативным иллюзиям. Подобные мысли могут быть интересными или скучными, но они не могут быть истинными или ложными. В отличие от шизотипических мыслей, шизоидные мысли претендуют на иллюзию истинности и ложности. Именно поэтому они

являются фундаментально ошибочными или, попросту говоря, фальсифицируемыми. Шизотипическое мышление нефальсифицируемо. Поппер здесь не поможет.

8. Следующая проблема, которую предстоит решить — это соотношение мышления и речевой деятельности. В «Трактате» на этот счет существуют два известных и противоречивых афоризма.

4 Мысль — это Пропозиция, обладающая Смыслом.

4002 <...> Речь маскирует мысль. И так, что по внешней форме этой маскировки нельзя заключить о форме замаскированной мысли; поскольку внешняя форма маскировки вовсе не имеет целью выявить форму тела¹.

Отождествление мысли с пропозицией вызывает сомнение. Для того чтобы высказать пропозицию, нужно определенное время. Мысль опережает пропозицию, она, по сути, возникает мгновенно, но тут же превращается в пропозицию. Следовательно, мысль и пропозиция это не одно и то же. Далее Витгенштейн (и, по моему, справедливо) утверждает, что речь маскирует мысль (в другом переводе «Язык переодевает мысли»). Почему речь маскирует мысль? Чтобы не выдать ее. Потому что говорится, как правило, не то, что думается. У мышления и речевой деятельности различные функции. Мышление преодолевает фрустрацию. Речевая деятельность

¹ Перевод автора

маскирует это преодоление фрустрации и выдает его за разговор, как правило, ни о чем. На самом деле любая речевая деятельность является проективной идентификацией. Ее цель — навязать собеседнику замаскированную мысль. В этом смысле мышление *не* является оперированием знаками. Недаром Бюссон говорит о мыслях сновидения как о более фундаментальных, чем мысли при бодрствовании. То есть мышление — это оперирование чистыми смыслами. Мысль не может быть бессмысленной. Пропозиция — может. В этом Витгенштейн прав. И в этом он романтик. «И лишь молчание понятно говорит...» «Мысль изреченная есть ложь...» Лотман определял романтизм как поэтику оборванных связей. Романтический герой (я *так* понимаю мысль Лотмана) одинок, потому что он не может и не хочет говорить, хоть мыслей у него навалом. Можно сказать, что всякий романтический герой — шизоид. Но можно ли заключить в свете сказанного, что мышление более фундаментально, чем речевая деятельность? Можно ли сказать, что преодолевающий фрустрацию младенец, не умеющий говорить, думает? Откуда берутся дочеревые смыслы? Ответ может быть только одним: из коллективного бессознательного, больше им неоткуда взяться. Поэтому довербальное мышление — это бессознательное мифологическое мышление. То, что мы называем сознанием, приобретается посредством языка и ведет к возможности обмана. Этот-то обман я называю верификативной иллюзией. У чистой мысли этих верификативных иллюзий нет. Чистая мысль не истинна и не ложна. Именно поэтому она допонятийна,

то есть мифологична в смысле О. М. Фрейденберг. Но это, конечно, реконструкция. Взрослый человек не может так мыслить, у него мысли засорены языком. Так называемая внутренняя речь насквозь диалогична. Чистый миф — это самоотрицающее понятие, он невозможен, как невозможен круглый квадрат. Но будучи невозможным, он является фундаментальным, его можно реконструировать. Чистое мышление и чистый миф это очень похожие вещи, они служат для преодоления фрустрации (в случае мифа — социальной, в случае мышления — биологической и психологической). Чистое мышление превращается в речевую деятельность, чистый миф — в наррацию (понятийный миф, по О. М. Фрейденберг). И здесь реконструкция уже не нужна. Мы все это можем наблюдать воочию. Это наша так называемая реальность, наша культура.

9. Мышление не нуждается в речи. Это речь нуждается в мышлении. В чем нуждается мышление, так это в аффекте. Блон писал в книге «Внимание и интерпретация: «Рассудок — раб эмоций и существует для того, чтобы рационализировать эмоциональные переживания». Первая часть этого суждения понятна. Если мышление возникает для преодоления фрустрации, то, стало быть, эмоция первичней, ибо фрустрация и есть непереносимая эмоция. Вторая часть высказывания Блона более проблематична. В психоанализе рационализация — механизм защиты, при котором в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря которым

собственное поведение предстаёт как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Иначе говоря, подбор (поиск) рационального объяснения для поведения или решений, имеющих иные, неосознаваемые причины. В этом-то состоит патологичность мышления, так как механизм защиты всегда патологичен. Что же получается, что мышление нужно всего лишь для того, чтобы защитить психику, причем патологически? А как же познание? Познание, как мы уже писали выше, есть род отрицания. Отрицание — специфический механизм защиты шизоида, наиболее зрелого мыслителя. Ненси МакВильямс писала: «Чем человек умнее и способнее к творчеству, тем лучшим рационализатором он является». Таким образом, мышление как рационализация и отрицание является побудительной способностью к творчеству. Но в основе всего лежит аффект, эмоция. Если человек пытается мыслить не на основе аффекта, а на основе ритуальных догм, он превращается в компульсивного психопата, такого, как Алексей Александрович Каренин, которого жена назвала «злой машиной». Тот факт, что в основе мышления лежит эмоциональность, сродни теории О. М. Фрейденберг, в соответствии с которой в основе любого понятия лежит миф. Миф в этом смысле — основа мышления. Мышление — это рационализация мифа, превращение его в нарративное понятие. И, таким образом, если любое понятие есть рационализация эмоционального эффекта, то любое умозаключение есть рационализированная эмоциональная драма или даже трагедия. Вот аргументы О. М. Фрейденберг:

Греческий роман опирается на очень архаический материал. Тут «рассказ», носит субъектно-объектный характер; в нем нет различия между тем, кто рассказывает, что рассказывается, кому рассказывается. ... в таком мифе сам рассказчик идентичен своему рассказу... рассказ уподоблен жертвенному животному.

Итак, мышление в историческом плане сводимо к тотемизму. Что это значит? Это значит очень странную вещь. Что о чем-то можно думать, а о чем-то — нельзя. Но это абсурд! Как можно запретить о чем-то не мыслить? Но вспомним шиллеровское: «Сир, даруйте же свободу мысли!» Мы сами не замечаем, что запрещаем себе думать о чем-то. Это в нас говорят остатки тотемистического мышления. Здесь ход нашей мысли таков. Поскольку тотем (за исключением праздника) нельзя принимать в пищу, а мышление уподобляется Бионом пищеварению, то запрещение употреблять в пищу тотема аналогично запрещению думать о чем-то плохо. И, конечно, это психопатология. Кто боится, что его мысли будут известны другому? Шизофреники, конечно. У шизоидов этот процесс происходит латентно. Когда по версии Фрейда братья в первобытной орде съели отца-тотема, чтобы завладеть матерью, у них появилось коллективное чувство вины.

Ссылка на торжество тотемистической трапезы позволяет нам дать ответ: в один прекрасный день изгнанные братья соединились, убили и съели отца

и положили таким образом конец отцовской орде. Они осмелились сообща и совершили то, что было бы невозможно каждому в отдельности. Может быть, культурный прогресс, умение владеть новым оружием дали им чувство превосходства. То, что они, кроме того, съели убитого, вполне естественно для каннибалов-дикарей.

Жестокий праотец был несомненно образцом, которому завидовал и которого боялся каждый из братьев. В акте поедания они осуществляют отождествление с ним, каждый из них усвоил себе часть его силы. Тотемистическая трапеза, может быть, первое празднество человечества, была повторением и воспоминанием этого замечательного преступного деяния, от которого многое взяло свое начало; социальные организации, нравственные ограничения и религия.

<...>

Для того, чтобы, не считаясь с разными предположениями, признать вероятными эти выводы, достаточно допустить, что объединившиеся братья находились во власти тех же противоречивых чувств к отцу, которые мы можем доказать у каждого из наших детей и у наших невротиков как содержание амбивалентности отцовского комплекса. Они ненавидели отца, который являлся таким большим препятствием на пути удовлетворения их стремлений к власти и их сексуальных влечений, но в то же время они любили его и восхищались им.

Устранив его, утолив свою ненависть и осуществив свое желание отождествиться с ним, они должны были попасть во власть усилившихся нежных душевных движений. Это приняло форму раскаяния, возникло сознание вины, совпадающее с испытанным всеми раскаянием. Мертвый теперь стал сильнее, чем он был при жизни; все это произошло так, как мы теперь еще можем проследить на судьбах людей. То, чему он прежде мешал своим существованием, они сами себе теперь запрещали, попав в психическое состояние хорошо известного нам из психоанализа «позднего послушания». Они отменили поступок, объявив недопустимым убийство заместителя отца тотема, и отказались от его плодов, отказавшись от освободившихся женщин. Таким образом, из сознания вины сына они создали два основных табу тотемизма, которые должны были поэтому совпасть с обоими вытесненными желаниями Эдипового комплекса.

Кто-то сказал, что психология — это палка о двух концах. Фрейд возводит к тотемизму христианство. В самом деле, кто, как не Христос, считал величайшим грехом не само прелюбодеяние, а только мысль о нем! Так что можно понять шиллеровского маркиза Позу, который требовал от короля свободы мысли.

10. Мысль — универсальный рационализатор. Но между мыслью и аффектом устанавливаются взаимообратимые отношения, как PS–D. Наряду с рационализаци-

ей должна существовать и дерационализация, обратное превращение мысли в аффект. Это регрессия, психотизация. Для того, чтобы превратиться в аффект, мысль должна развалиться, исказиться. Значит, преодоление фрустрации произошло неуспешно. Эта вторичная фрустрация отличается от первой тем, что попытка ее преодолеть при помощи отрицания-нейтрализации, то есть зрелого механизма защиты, не удалась. А мысль в это время успела уже превратиться в высказывание. Нейтрализующее высказывание. Вроде «Я не верю, что моя сестра умерла». Но происходит дерационализация, и человек видит умершую сестру и начинает снова рыдать. Это может перейти в психотический регистр, в отрицание реальности, в бред: «Моя сестра не умерла». Может перейти в деперсонализацию «Мне все равно, что моя сестра умерла». Суть моей концепции мышления состоит в том, что мысль «Моя сестра умерла», в сущности, психологически невозможна. Всегда необходим какой-то добавочный модальный оператор. Витгенштейн писал, что мы не можем мыслить не логически. А я бы сказал по-другому: мы не можем мыслить не мифологически. Почему невозможна мысль «Моя сестра умерла»? Потому что это не мысль. Она ничего не преодолевает. Это пост-мысль. Как не является мыслью «Дважды два равно четырем». Но причём здесь мифологизм? А вот причём. Шизоид мыслит мифологически, потому что его отрицание является в то же время утверждением противоположного. То есть это нейтрализация. Нейтрализация между жизнью и смертью, между истиной и ложью. Это универсальная

нейтрализация. Так понимал миф А. М. Пятигорский. «Неверно, что моя сестра умерла. В определенном смысле она жива». В каком же смысле? В мифологическом. Там, где нет истины и лжи, а смерть переходит в рождение. У шизоида всегда есть представление о прямом смысле, низшем, и переносном, высоком. Сестра его не умерла в высшем смысле. Дерационализация является истерической реакцией, незрелой, уничтожающей мысль. Такой была реакция Ленского, приравновавшего Онегина к Ольге.

Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов, и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

Монолог Ленского — антимифологический, он ничего не преодолевает, а, наоборот, комически заостряет, что подчеркнуто несоответствием шинельных романтических штампов в речи Ленского и заключительного двусишия от имени автора. Если бы Ленский был шизоидом, как бы он ответил на фрустрацию, которую подстроил ему легкомысленный Онегин? Он бы мифологизировал ее, лишив верификативных

иллюзий. Как бы он это сделал? Ну, например, дружески дать Онегину по морде. Это называется в психоанализе *acting out*, отыгрывание вовне, которое не может быть ни истинным, ни ложным; это и есть мифологизация. Любое действие, не сопровождающееся словами, есть мифологическое, нейтрализующее действие. Но является ли само подобное действие мыслью? Нет. Но оно последствие мысли. Здесь вспоминается теория речевых актов и само название книги ее основателя Джона Остина «Как производить действия при помощи слов?» Речевой акт мифологичен, так как он не является ни истинным, ни ложным. Согласно же перформативной гипотезе Анны Вежбицкой любое высказывание является речевым актом.

11. Мысли рождаются во сне. Кажется, что это парадоксально — во сне интеллект отдыхает. Но известны случаи, когда гениальные открытия совершались именно во сне (например, во сне Менделеев увидел периодическую таблицу химических элементов). Сон и сновидение определяются (с точки зрения бодрствующего) как нечто семиотически неопределенное. Во сне нет денотатов. Это реальность чистых смыслов. Но можно ли назвать сновидение реальностью? в буддийской философии сон это реальность, а реальность это сон, иллюзия. Будем считать, что это нечто вроде принципа дополнительности. Витгенштейн писал, что реализм и солипсизм это практически одно и то же, если они строго продуманы. Что нам это дает? Это дает нам предположение об относительности внутреннего и внешнего.

Реальность — это лента Мебиуса, там внутреннее переходит во внешнее и наоборот (подробно см. мою книгу «Новая модель реальности»). И, таким образом, мышление это тожепостоянный переход из внутреннего во внешнее и обратно. Что такое не-мышление? Это действие, внешнее действие. Или факт, как бы сказал Витгенштейн. Что такое не мысль? Это вещь, нечто внешнее, сугубо внешнее. Но вещей не существует вне фактов. Из этого можно вывести, что и мыслей не существует без мышления. Но в сновидении в определенном смысле нет противопоставления вещи и факта, там все перемешано, «все равно всему» (И. Матте Бланко). Поэтому во сне нет противопоставления мысли как чего-то номинативного, вещного и мышления как чего-то предикативного, событийного. Из этого следует, что сновидение архаичнее, чем реальность. Что оно менее иллюзорно. Ведь так называемая реальность — по сути, семиотическое образование, правда, довольно сложное. Сновидение семиотически неопределенно, оно не образует знаков. И, стало быть, мышление во сне — это **чистое** мышление, незнаковое. Ю. М. Лотман говорил нам, что основателем семиотики является Блаженный Августин. Но более существенно то, что основателем психологии был Иисус Христос. Мы уже касались этого выше. В Нагорной проповеди сказано:

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. (Исх 20:14; Втор 5:18), а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Достаточно взглянуть на женщину (во сне) и тебе уже конец. Если перевести все это на более привычный язык, можно сказать, что Иисус Христос дал людям бессознательное. Предписание Ветхого Завета просто и ясно. Предписание Христа чрезвычайно сложно. *Как* можно точно определить, смотришь ты на женщину с вождением или нет? И для того, чтобы этого не делать, нужны большая внутренняя работа, тренировка эмоций. При этом интересно, что заповедь Христа дается не в виде эксплицитного предписания, а, скорее, в виде контрфактического суждения. Здесь не сказано: не делай так, а сказано, скорее: если сделаешь так, то будет так. В чем различие? Различие, как кажется, в том, что человеку предоставляется выбор. Эксплицитное предписание говорит: не делай так (а то будет плохо). Косвенное предписание Христа говорит другое. Человек может не нарушать закон внешне, но при этом он будет нарушать его внутренне. Это очень трудно исполнить. Вот человек идет по улице, и навстречу ему идет красивая девушка. Он думает: «Какая красивая девушка. Хорошо бы...» И вот уже Христова заповедь нарушена. Что делать этому человеку, которому свойственно заглядываться на красивых девушек? Если он искренний христианин, он должен, видимо, как-то себя изолировать от таких ситуаций. Ну что ему делать? Не выходить вообще на улицу? Но он может и сидя дома подумать об этой девушке, которую он встретил на улице, и вновь заповедь будет нарушена. Улица и дом — эта та же лента Мебиуса. Мне кажется, богохульник Пушкин посмеялся над словами Иисуса в «Графе Нулине»:

*В постеле лежа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегаает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
«Неужто вправду я влюблен?
Что, если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;
Я, кажется, хозяйке мил», —
И Нулин свечку погасил.*

Ситуация здесь такая же, как в случае с Ленским, приведенным выше. Ее обобщенно можно назвать внешним сновидением, или, точнее, истерией с самим собой.

12. Бион в статье «Теория мышления» писал: «мышление возникает для того, чтобы справляться с мыслями»; «мышление — это образование в психике, вызванное давлением мыслей. То есть мысль, по Биону, не продукт мышления, а его предпосылка. И мысль — это нечто вроде непереносимой эмоции. Мысль надо переварить, как кусок пищи. Как это соотносится с декартовским «я мыслю, следовательно я существую»? Что такое «мыслить»? Это значит справляться с мыслями, переваривать их. А отчего возникают мысли? От фрустрации. А отчего возникает фрустрация? От расщепления. Вот ребенок родился на свет, и произошло первое и главное расщепление на внутренний мир и внешний. Ребенок испугался и сразу запросил материнской груди. Поев, он заснул. Во сне он начал переваривать мысли.

Зачем я пишу эту книгу? Чтобы справиться с мыслями о мышлении. Под влиянием Биона и Кроу у меня возникла мысль, что мышление есть нечто патологическое. С этой мыслью надо справиться, переварить ее во сне. Почему же все-таки во сне? Не буду вновь рассуждать о том, что более реально, а что более иллюзорно. Сновидение — это образование для переваривания мыслей. Для того чтобы переваривать мысли, нужны «сгущение» и «смещение». Это как поэтика выразительности и генеративная семантика А. К. Жолковского. У Пушкина была одна мысль: амбивалентно окрашенное противопоставление подвижного и неподвижного. Ему требовалось как-то с ней справиться. Для этого ему нужно было его поэтическое мышление, «поэзии священный бред». Но в случае психоза человек хочет уже не переварить мысли, а избавиться от них, так как они причиняют боль. Откуда он возникает, психоз? В сущности, это непереносимая фрустрация. А что это значит? Вот человек смотрит на реальность и перестает ее понимать, потому что он внутреннее, свои мысли, проецируя, принимает за внешние объекты, образуются галлюцинации, то, что Блон называет странными объектами. Реальность нужна для того, чтобы отличать внутреннее от внешнего. Древние люди этого не могли. — Скажи, ты можешь себе представить Ефима Курганова? — Да, могу. — Но ведь его же здесь нет. Как ты докажешь, что это — не галлюцинация. — Это и есть бытовая галлюцинация. — Как мы отличаем их от реальности? При помощи мысли? Ничего подобного. Это просто навык реальности. По-настоящему галлюцинации от реальности как вещи

в себе ничем не отличаются. Мы живем в мире странных объектов. В параллельных мирах. Но мы умеем отличать вещи от слов, а факты — от предложений. У психотика все это перемешано, все равно всему. Но здесь как будто возникает противоречие. С одной стороны, я считаю «нормальное» мышление психопатологическим. С другой стороны, в психозе мышление разрушается. Но дело в том, что «нормального мышления» не существует. Нормы вообще не существует. Для меня одинаковыми эталонами эстетической нормы будут и «Я вас любил. Любовь еще быть может», и «Писсуар» Дюшана, и «Московский дворик» Поленова. А что такое психическая патология? Выше я постулировал, что наиболее зрелое мышление — это пограничное мышление шизоида. Оно погранично между «нормозом» и шизофренией. Мыслить в декартовском смысле — это значит находиться на границе между «нормой» и «безумием». Это и есть хайдеггеровская экзистенция, *Da sein*. Психоанализ, да и любая психотерапия, не является лечением в том смысле, как лечат сердце или желудок. Терапия души ориентирована на развитие, на то, чтобы человек лучше переваривал мысли, а не на то, чтобы у него у них не было.

13. Мысль — это осмысленная эмоция. Эмоция при отсутствии мышления может быть передана только примитивным языком будущих междометий. Как без помощи мышления преодолеть эмоцию «мне сейчас очень больно»? Кричать или плакать. Но что если это не помогает! Возникает некоторая довербальная

прото-мысль «мне-сейчас-очень-больно». Но как справиться с этой мыслью? Возможно, надо подумать: «Так уже было раньше, потом прошло. Скорее всего, и сейчас пройдет.» Или просто: «Надо потерпеть!» Или: «Надо принять лекарство». Не получается ли так, что в мыслительной деятельности нуждаются только негативные эмоции, а радость, покой, счастье, любовь не нуждаются в обдумывании. Человеку хорошо. И слава Богу! О чем тут еще думать? И тогда получается, что негативные эмоции соответствуют психической патологии, а позитивные — психическому здоровью. Опыт показывает, что это не так. Больные часто смеются, а здоровым случается плакать. Мышление, направленное на то, чтобы справиться с мыслями, тем самым направлено на действие. Эмоция — мысль — мышление — действие. Негативная эмоция (холодно!), мысль (как преодолеть холод?), мышление (чтобы преодолеть холод, надо разжечь в пещере огонь; или построить дом). Но если бы все было так просто! Но у людей так не бывает, чтобы они нечто негативное преодолевали чем-то позитивным. Построить дом — это значит прежде всего не укрыться от холода, а преодолеть травму рождения. Или влечение к смерти, что примерно то же самое (дом — домовина, то есть могила). И вообще бинарность (хорошо — плохо, жизнь — смерть, истина — ложь) не свойственны мышлению человека. Её придумали структуралисты. Необходимым и достаточным является число три, как было убедительно показано В. Н. Топоровым. По Гурджиеву, у человека три центра — интеллектуальный, эмоциональный и двигательный.

Человек — это машина, работающая во сне. Машине только кажется, что она живет, на самом деле она механически спит. И мышление у нее тоже механическое. И эмоции механические. Для того чтобы преодолеть механистичность, человек должен все время помнить себя, постепенно пробуждаясь от сна жизни, делаясь таким, каким его задумал Христос, миссия которого, по словам Даниила Андреева, была прервана. Царство Небесное, согласно эзотерическому христианству — это высшее состояние психики, где нет никаких бинарных оппозиций. Это, конечно, утопия. Я ее называю новый трагизм. Это прежде всего думать и говорить правдиво во всех параллельных мирах. К этому можно только стремиться. Например, дать себе задание не врать самому себе в течение 15 минут. Это очень трудно. Человек не понимает, какой хаос творится у него в голове. Он одновременно любит и ненавидит, хочет есть и худеть, хочет стать священником и дирижером симфонического оркестра. Но только человек этого хаоса не воспринимает, чтобы не сойти с ума. Наиболее честные люди допускали в себе элементы этих противоречий. Катулл в знаменитом дистихе писал, что одновременно ненавидит и любит Клодию. Но такая честность и смелость чрезвычайно редки. Чаще всего человек бывает в целях защиты своей психики совершенно не откровенен с самим собой.

Мысли и вещи

В статье «Текст и структура аудитории» Ю. М. Лотман писал:

Представление о том, что каждое сообщение ориентировано на некоторую определенную аудиторию и только в ее сознании может полностью реализоваться, не является новым. Рассказывают анекдотическое происшествие из биографии известного математика П. Л. Чебышева. На лекцию ученого, посвященную математическим аспектам раскрой-ки платья, явилась непредусмотренная аудитория: портные, модные барыни... Однако первая же фраза лектора: «Предположим для простоты, что человеческое тело имеет форму шара» — обратила их в бегство. В зале остались лишь математики, которые не находили в таком начале ничего удивительного. Текст «отобрал» себе аудиторию, создав ее по образу и подобию своему.

Предположим для простоты, что человеческая психика имеет форму шара. Внутренность шара — это бессознательное. Очень тонкая оболочка шара — это сознание — орган для восприятия реальности и психических качеств (Фрейд). То, что находится за пределами шара — непознаваемое Реальное, как его называл Лакан. Проекция Реального на сознание создает иллюзию

реальности. То, что проходит путь от бессознательного к оболочке сознания, называется мыслями и сам этот процесс — мышлением. Между мыслями и проекциями Реального в сознании (реальностью, вернее, ее иллюзией) происходит борьба. Результат этой борьбы — появление речи. Мышление действует изнутри по направлению к языку. Источник мыслей — бессознательные фрустрации. Первая фрустрация — это расщепление на мир внешний и внутренний при рождении ребенка. Задумывались ли мы над тем, что представляют собой единицы бессознательного? По-видимому, это и есть смыслы, которые на пути к сознанию превращаются в мысли, а на оболочке сознания становятся частями речи. Бессознательное — хранилище смыслов (Юнг). Сознание создает — иллюзию истинной или ложной реальности. Поэтому мы считаем мышление патологическим, необходимым злом, что оно приводит от различных к истине и лжи смыслов к иллюзорной верификативной реальности. Это зло необходимо для того, чтобы человек не впал в безумие. Потому что на самом деле никакой истины и никакой лжи нет. Как говорил Делёз, предложения «Бог есть» и «Бога нет» выражают один смысл. Но люди так жить не могут. Им нужно все «взять и поделить». В сущности, для высших существ, для сверхлюдей мышление не нужно, они оперируют чистыми смыслами. По П. Д. Успенскому, таких сверхчеловеков было на Земле два — Будда и Христос. Но они говорили иносказаниями и притчами. Думать, что факты могут быть истинными и ложными — это значит понимать буквально значение буддийских и христианских

притч. Мы обрисовали процесс примитивизированного первоначального мышления, которое ведет от бессознательного к языку. В результате этого процесса формируется ложная личность, как ее понимали Винникот и Гурджиев. Подлинный зрелый процесс мышления движется в противоположную сторону, от языка к бессознательному. Причем, коллективному бессознательному. Этот процесс характеризуется отрицанием, и его можно назвать *постижением*. Матрицу этого шизоидного процесса мышления в определенном смысле дает «Логико-философский трактат». Там он говорит, что для того чтобы получить общую форму предложения, надо последовательно применить операцию отрицания ко всем предложения (Витгенштейн имеет в виду предложения в изъявительном наклонении). Тогда получится общая форма предложения «Дело обстоит так-то и так-то». Витгенштейн имеет здесь дело с языком, а не с мышлением. В мышлении нет ничего окончательного, так как наше мышление (во всяком случае, так считал Бюн) находится в зачаточном состоянии.. Возможно, «Дело обстоит так-то и так-то» на самом деле не является общей формой предложения. Да Витгенштейн и сам прекрасно это понимает. За общей формой предложения стоит молчание. Но тогда встает вопрос, что встает за молчанием. Мистическое «мышление». Передача мыслей на расстояние. И так далее.

2. Вопрос о соотносительности мысли и вещи, мышления и реальности требует отдельного рассмотрения. С одной стороны, Бюн придавал большое значение игре

слов no thing — nothing: нет вещи — ничего — нет реальности. Реальность — от латинского слова вещь (res). Стало быть, возможным должно быть чистое мышление, скажем математическое, никак не связанное с реальностью. Как писал Витгенштейн, логика должна сама о себе позаботиться. Но этот вопрос влечет за собой куда более сложную фундаментальную философскую проблему. Если возможно чистое мышление, то должна быть возможна и чистая реальность, не замутненная мышлением (то есть, по Фрейдю, воспринятием). Я считаю, что такой реальности не существует, что это иллюзия, своего рода дьявольский соблазн, что, дескать, существуют сами по себе столы, деревья, что река течет сама по себе и так далее. Ну, вот течет река — причем здесь бессознательное? Причем здесь наше мышление? Но откуда мы знаем, что течет река? Из нашего бессознательного. Последователи Юнга пришли к выводу, что каждая вещь представляет собой архетип. Стало быть, река, которая течет, восходит к архетипу жизни и смерти. (Так у Мандельштама строка «В сухой реке пустой челнок плывет...» — несомненно, аллюзия на реку мертвых и лодку Харона.) И вся реальность берется из архетипов коллективного бессознательного, которые, по Юнгу, наследуются генетически. Как же мы тогда говорим, что есть чистое мышление, не связанное с реальностью? Какие фрустрации оно преодолевает? Ну вот, теорема Ферма была математической фрустрацией, пока ее не доказал в 1995 г. Эндрю Уайллс. Но это какой-то пифагореизм! Ну и что же с того? Чистая реальность невозможна по той простой причине, что физика

XX века доказала, что реальность носит квантовый характер. Она не может существовать независимо от наблюдателя в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга. (Это, если угодно, квантовое доказательство Бытия Божия.) В определенном смысле вся реальность состоит из элементарных частиц. А элементарные частицы — это то же самое, что мысли. Мир состоит из мыслей. Нет, это не пифагореизм, это платонизм! Но причем здесь юнгианство? Элементарные частицы крохотные, а архетипы здоровенные! Например, Самость. Вот от Самости и поговорим. Постигание Самости, метанойя, воссоединение с Богом, индивидуация — все это конечная цель всякого мышления. Устранение всеобщей онтологической фрустрации. Если есть какой-то смысл в жизни, то он состоит в подражании Христу (название средневекового трактата Фомы Кемпийского). В своих предыдущих книгах мы называли это жизнью против жизни. Примерно то же самое мы обозначаем как новый трагизм. Почему трагизм и почему новый? Ведь учение Гурджиева (эзотерическое христианство), с которым новый трагизм связан, оптимистично по своей сути. Новый трагизм — это прежде всего никак не удающаяся попытка выхода из постмодернизма, который из сферы эстетики и философии проник уже в политику. Не об этом ли знаменитая статья Бодрийара «Войны в Заливе не было»? Нас теперь называют не Империей Зла, а Империей Лжи. Но причем здесь мышление, как оно связано с проблемой лжи? Через концепт ошибки. И через концепт чистой реальности. Посмотрим же, каково мышление

у людей, которые признают чистую реальность в силу своей психической конституции.

3. Слово «синтонный», то есть живущий в ладу с реальностью, придумал Блейлер, который, видимо, был сам таким. Его ученик, тончайший психиатр экзистенциального направления, друг Бинсвангера Эжен Минковский так пишет в своей книге «Шизофрения»: «наш дух постоянно ищет в бесчисленных вариациях окружающего мира *идентичность вещей в потоке времени*¹». И что же? Такой видит суть синтоника Минковский, поиск идентичности вещей. А ведь его друг Бинсвангер писал о них как о безмятежно пребывающих среди вещей. Но это он писал о здоровых синтониках, а Минковский — о больных. Суть этой болезни — «это поиск своего "я", которое постоянно кажется ускользающим». О чем идет речь? О маниакально-депрессивном психозе. Ускользающее я. Где он его увидел? И у депрессивного, и у гипоманиака вполне постоянное «я». «Я» ускользает у шизофреника. Ну, может быть, при скачке идей, исследованной, кстати, Бинсвангером, когда «я» не успевает следить за пробегающими с невероятной скоростью в его голове мыслями, это «я» ускользает. При обычной же депрессии и обычной гипомании происходит соответственно обеднение мыслей и обеднение эмоций у депрессивных и ускорение и, главное, симультанизация мыслительного процесса при гипомании и мании.

¹ Книга написана во 2-й пол. 1920-х гг., как можно видеть из приведенной цитаты под влиянием «Творческой эволюции» Бергсона. — Прим. автора.

Когда-нибудь поймут, что депрессия и гипомания — это разные заболевания, уже шаг навстречу этому сделала Ненси МакВильямс в своей замечательной книге «Психоаналитическая диагностика». Я не вижу чистой реальности ни в том, ни в другом случае. Реальность и при депрессии, и при гипомании искажается. Бредящий пациент Блейлера (депрессивный) говорит: «каждый глоток воды, что я выпил, украден мной, я ведь столько за свою жизнь выпил воды». Считается, что именно синтонные признают независимость реальности от мышления и первичность реальности. Я думаю, что вот это как раз бред. В XIX в гимназиях учили, что мышление первично. Только кучка революционных демократов считала иначе. Потом пришел второй позитивизм и показал, что между сознанием и материей имеется принципиальная координация. И вот тут явился В. И. Ленин во всей своей синтонности и показал всем в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм», что такое вообще философия. И если бы не хамский тон этой книги, ее можно считать философским трудом. Ее всерьез читали и обсуждали члены первого Венского логического кружка. А это были очень умные люди. Моя гипотеза состоит в том, что, во всяком случае, в нашей православной стране материализм был явлением обученным, результатом конспектирования и заучивания наизусть этой сверхценной для большевиков книги. А впрочем, левые идеи были в XX веке не только в нашей стране. Что же определяет мышление здорового синтонного человека? Следование во всем за реальностью, то есть, по нашему мнению, за *иллюзией* реальности. Когда-то

мне мой отец в детстве говорил, что Ленин-то и был настоящим идеалистом. Идея реальности самая грубая, самая немыслимая. Как отличить галлюцинацию от реальности? Да никак! Потому что реальность — это и есть коллективная галлюцинация (буддизм) или согласованный бред. Есть какие-то энграммы коллективного бессознательного у нас в мозгу — вот это и есть реальность. Остальное все «Букварь», «Родная речь» и гипотеза лингвистической относительности.

4. Человеческая экзистенция есть постоянная борьба с реальностью. Дети кричат, женщины плачут, мужчины повторяют одно и то же. Мышление подразумевает некое соглашение, сотрудничество с реальностью. Иначе не выжить. Тогда начинается странный процесс. Мы не можем осилить реальность целиком, несмотря на то, что мы всячески превозносим холизм: целое, дескать, больше составляющих его частей. Но чтобы совладать с реальностью, мы ее не столько отрицаем, это не всегда удается, но расчленяем на куски. Это результат шизотипического мышления. Это означает, что оно более патологично, чем шизоидное, но менее патологично, чем шизофреническое, с осколками реальности. Что это за осколки? В шизотипическом мышлении особую ценность приобретает цитата.

Не повторяй — душа твоя богата —

Того, что было сказано когда-то,

Но, может быть, поэзия сама —

Одна великолепная цитата.

Это написала Ахматова, вся поэзия которой состоит из намеков, открытых цитат и скрытых реминисценций. Цитатную технику акмеистов изучали в 1970-е годы филологи школы К. Ф. Тарановского. Они многое поняли, в частности, у Мандельштама. Но они не хотели понимать, что эта техника, поэтическое мышление в цитатах, есть психическая патология, механизм защиты от реальности, в частности, и от политической реальности. Нельзя было больше писать, как Пушкин «Я вас любил. Любовь еще быть может...» Это ведь, по сути, новый трагизм. Почему в XX веке так писать больше было нельзя? Как изменилась реальность времен Пушкина по сравнению с реальностью времен Блока? Что такое золотой век и серебряный век русской поэзии? Золотой век — это век холизма. Серебряный век — это век осколков. Почему? Потому что «все слова сказаны» (афоризм покойного С. С. Аверинцева). Одно слово влечет за собой другое, уже раньше сказанное. Так появился верлибр, строки которого являются метрико-семантическими цитатами из других стихов. Я покажу это на примере верлибра Блока «Она пришла с мороза...» Чтобы было понятно и наглядно, приводим его полностью, пронумеровав строки:

- (1) Она пришла с мороза,
- (2) Раскрасневшаяся,
- (3) Наполнила комнату
- (4) Ароматом воздуха и духов,
- (5) Звонким голосом

-
- (6) И совсем неуважительной к занятиям
 - (7) Болтовней.
 - (8) Она немедленно уронила на пол
 - (9) Толстый том художественного журнала,
 - (10) И сейчас же стало казаться,
 - (11) Что в моей большой комнате
 - (12) Очень мало места.
 - (13) Все это было немножко досадно
 - (14) И довольно нелепо.
 - (15) Впрочем, она захотела,
 - (16) Чтобы я читал ей вслух «Макбета».
 - (17) Едва дойдя до пузырей земли,
 - (18) О которых я не могу говорить без волнения,
 - (19) Я заметил, что она тоже волнуется
 - (20) И внимательно смотрит в окно.
 - (21) Оказалось, что большой пестрый кот
 - (22) С трудом лепится по краю крыши,
 - (23) Подстерегая целующихся голубей.
 - (24) Я рассердился больше всего на то,
 - (25) Что целовались не мы, а голуби,
 - (26) И что прошли времена Паоло и Франчески.

Посмотрим: строка (1) — чистейший 3-стопный ямба. Более того, это метрическая автоцитата из стихов «второго тома»:

Она пришла с заката.

Был плащ ее заколот

Цветком нездешних стран.

Звала меня куда-то

В бесцельный зимний холод

И в северный туман.

Разбираемое стихотворение находится в начале «третьего тома». Поэт как бы издевается над своими прошлыми идеалами, над Прекрасной Дамой; строки (16) и (17) написаны соответственно 5-стопным хореем и 5-стопным ямбом. Первый размер имеет в русской поэзии устойчивую смысловую традицию, идущую от стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» — «динамический мотив пути, противопоставленный статическому мотиву жизни» (формулировка профессора К. Ф. Тарановского, которому принадлежит это открытие). Теперь сравним строку (16) с лермонтовскими стихами:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел.

Вновь метрическая цитата (кстати, следует оговорить тот факт, что ни в коем случае нельзя фамилию Макбет произносить с ударением на первом слоге, в этом случае разрушается размер: вспомним ирландские и шотландские фамилии — МакТаггарт, МакКинси, МакКартни, МакАртур — везде ударение на втором слоге.

Что касается строки (17), то белым (то есть нерифмованным) 5-стопным ямбом написаны трагедии Шекспира, среди них «Макбет», разумеется:

Земля, как и вода, имеет пары.

И это были пузыри земли.

Мы привели лишь наиболее очевидные случаи. Все стихотворение Блока и любой верлибр состоят из строк, соответствующих, «омонимичных» различным стихотворным размерам — в этом суть верлибра как системы систем.

У Борхеса в рассказе «Утопия усталого человека» есть следующий пассаж:

— «*Это цитата?*» — спросил я его.

— *Разумеется. Кроме цитат, нам уже ничего не осталось. Наш язык — система цитат.*

5. Постмодернистская философия говорит: реальность — это текст. Нарративная онтология заостряет этот тезис: реальность — это **зашифрованный** текст. Уточняя наш тезис, можно сказать так: реальность есть текст, зашифрованный под реальность. Это и есть наша лента Мебиуса. Наивно прочитывая строку «Она пришла с мороза...» как реалистическую, мы осмысливаем ее в терминах «истинно — ложно». Осмысливая ее постмодернистски, мы видим ее как цитату из другого текста. Осмысливая ее в духе нарративной онтологии, мы говорим: перед нами реальность, притворившаяся

текстом, или текст, притворившийся реальностью. Нарративная онтология спрашивает: интересно ли это и чем это все закончится? Что это значит? Каков смысл этого? Текст передает некую загадку как травму. В чем состоит травма текста как неразгаданной реальности? Это травма его рождения как преодоления фрустрации. Вот мы и пришли к постмодернистскому пониманию психологии мышления. Мы должны осмыслить любой фрагмент реальности как текст, в котором зашифрована травма его рождения. Мы должны преодолеть эту травму, а для этого нужно расшифровать текст реальности. Гиперреалистическая художница Алисса Монк все время изображает себя окруженной водой. Ясно, что она воспроизводит травму рождения. Ну а какую травму прячет стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда»? В чем травматический смысл написания мной книги «Новая модель реальности»? Здесь нужен нарративный психоаналитик. В любом случае реальность скрывает текст, а текст скрывает реальность. Раньше мы говорили: реальность есть текст, сложная знаковая система. Теперь мы говорим, что, скорее, напротив — текст это реальность. Это тезис антипостмодернизма: обращаться с текстом как с реальностью. А как обращаются с реальностью? С реальностью надо обращаться бережно. Не забывая, что она в то же время текст. Не так, как Чернышевский и Писарев обращались с романом «Отцы и дети». Они вообще не принимали в расчет, что это художественное произведение, текст, прячущий травму своего рождения. Новый трагизм не наставляет: говори всегда правду. Мы

не знаем правды. В чем суть нового трагизма? «Прямое высказывание» — это когда слышишь слово и понимаешь его значение буквально. И действуешь с этим буквальным пониманием. Например, когда человек говорит женщине: «Я вас люблю», не отсылая к д'Артаньяну и Констанции Бонасье (пример Умберто Эко из «Заметок на полях "Имени розы"»), но и не так, как говорил Нэш в фильме «Игры разума» первой попавшейся девушке: «Ты мне нравишься, я хочу с тобой спать» (это не прямое, но шизофреническое высказывание — регрессивная синтонность). Типичный пример непрямого постмодернистского приглашения к сексуальным отношениям — это когда говорят «Давай поужинаем вместе». Но сказать «Я вас люблю» и больше ничего в это высказывание не вкладывать, никаких коннотаций, не так что миллионы людей уже признавались в любви, и потому по логике постмодернизма делать это в очередной раз бессмысленно (Умберто Эко «Заметок на полях "Имени розы"»), а так, как будто это делается в первый раз — не «как бы» (постмодернистское выражение), а «на самом деле» (о логике этих двух понятий см. статью «Как бы и на самом деле» в моем «Словаре культуры XX века», любое издание), так, как будто есть если и не «истина», то хотя бы «правда». То есть в русле «нового трагизма» сказавший «я тебя люблю» (и, конечно, я анализирую именно эту фразу неслучайно, т. к. любовь — один из ключевых концептов нового трагизма) должен «отвечать за базар». То есть действительно любить. Любовь — это когда другой человек для тебя важнее, чем ты сам. А если разлюбил, то так и сказать: «Я тебя

больше не люблю». Это жестоко, но гораздо лучше, чем притворяться и обманывать и себя, и другого человека.

6. Является ли мышление своего рода действием? Может ли мышление, другими словами, воздействовать на реальность? По реконструкциям антропологов XX века древнее первобытное мышление было магическим, то есть оно могло воздействовать на реальность. Для того чтобы реальность оставалась неизменной, нужно было воздействовать на нее магическими ритуалами. Древние предпочитали, чтобы ничего не менялось, поэтому их мышление было повторением, это было аналогом современного компульсивного мышления. Повторяющаяся мысль, или слово, или действие снижает тревогу, в этом терапевтическое воздействие компульсивного мышления на реальность. Другое дело, что тревога является творческим началом. Поэтому компульсивное мышление в противоположность шизоидному является косным. Компульсивное мышление очень часто служит подспорьем шизоидному мышлению, так как жизнь и творчество согласно Делёзу возникает на пересечении повторения и различия. Так, для того, чтобы написать стихотворение, надо использовать какой-либо стихотворный размер, нечто повторяющееся, чтобы на фоне этого повторяющегося было виднее различие (диалектика метра и ритма, по Андрею Белому). Истерия и obsессия все время чередуются друг с другом и в тоже время сосуществуют. Весь мир — это большая obsессия и большая истерия. Традиционно считается, что истерия — это природное начало, а obsессия — это

культурное начало. Но это не совсем так. В природе заложены определенные ритмы, она без этого не может существовать. В этом смысле природа компульсивна. В то же время истерическое начало присуще культуре в самых ее разнообразных проявлениях. Например, в повседневной жизни. Едет по улице троллейбус, потом другой троллейбус — это obsессия; едет троллейбус, потом за ним мерседес — это уже истерия. То было повторение, а это — различие. Возможно, именно это в каком-то смысле бессознательно имел в виду Делёз в своей чрезвычайно сложной книге, содержание которой этим, конечно, не исчерпывается. Obsессия и истерия в культуре интегрируются при помощи дизъюнктивного синтеза (термин Делёза). Конъюнкция — это obsессия, дизъюнкция или это истерия. Получается, что этот дизъюнктивный синтез: истерия ± obsессия — универсальная матрица природно-культурного взаимодействия.

7. Если Homo Sapiens является, в принципе, «большим животным», как сказал еще Ницше, то встает очень важный вопрос, прямо относящийся к теме мышления как чего-то патологического. А есть ли в Homo Sapiens вообще что-то непатологическое, что при этом отличало бы его от остальных видов? В связи с этим я вспоминаю очень важную, переломную, эпоху в своей жизни, когда я впервые задумался, для кого я вообще пишу, кто мои читатели? До этого я считал, что это вопрос праздный, фальшивый и советский. Все пишут исключительно для себя. Но вопрос продолжал меня мучить. И я пошел к своему тогдашнему учителю и наставнику

по психологии и психиатрии профессору Марку Евгеньевичу Бурно. Обычно я приходил к нему с какими-то своими психологическими проблемами. Я рассказал ему, что меня мучает, он подумал несколько минут и ответил неожиданно: «Вадим Петрович, я не вижу в этом никакой патологии». Такой поворот меня изумил, до этого мне казалось, что Марк (как мы, его ученики, между собой его звали) буквально во всем видит психическую патологию. Я помню, мы с ним когда-то участвовали в передаче «Гордон» в 2001 году, и я спросил его прямо в эфире: «Марк Евгеньевич, а себя вы тоже считаете больным?», и он смиренно ответил: «Да, но я умею себе помогать». И вот этот разговор и его вердикт — что думать о читателе не есть патология — запомнился мне на всю жизнь. Я стал анализировать свою читательскую аудиторию. На первом месте были не философы (те, скорее, были на последнем), а психиатры и психотерапевты. На втором месте были люди очень разных профессий. В основном, творческих. Но не только. Если человек заботится о читателе, а не только о самовыражении, его книги можно назвать психотерапевтическим. Так называет свои книги Марк. Однажды я по телефону сказал ему, что пишу новую книгу. Он спросил: «Психотерапевтическую?» Я ответил, что надеюсь, что да. Итак, я, закоренелый эгоист, пришел к тому, что надо помогать людям. Это очень подорвало мою «ложную личность», и без того подорванную ченнием Гурджиева. Итак, к чему я клоню? Если помогать другим, преодолевая даже чувство самосохранения, как Кузмина-Караваева, которая пошла за другую женщину

в газовую камеру, это не патология... а мне всегда внушали разные умные люди, что подвиг Александра Матросова и капитана Гастелло — это чистая патология... — то что тогда делать с мышлением? Оно *что*, в это время, когда человек жертвует собой, отключается? Да нет, оно не отключается, оно начинает работать в другом режиме. В свое время у Гурджиева была идея, что нужно отказаться от своего страдания и практиковать «осознанное страдание». В связи с этим я понял, почему Гурджиев, очевидно, не одобрял Достоевского: потому что тот превозносил обычное страдание. Что такое осознанное страдание? Ну вот, например, писать книги не только ради своего удовольствия, а для того, чтобы кому-то было от этого легче. Итак, как же перестроить мышление, чтобы оно не было патологичным? *Что* делает его патологичным? То, что оно является механизмом защиты, преодолением фрустрации. Отрицание — ведь это тоже механизм защиты, причем примитивный. Проблема смыкается с идеями нового трагизма. С проблемой прямого высказывания. Если мы все — латентные шизофреники (кроме органиков), то не надо этого замалчивать. Но внутри этой латентности надо построить какие-то непатологические ходы. Тупо помогать ближнему. Мыть посуду. Ходить пешком. «Жить своей жизнью». И так далее.

8. В учении Гурджиева есть кажущееся противоречие. Для того чтобы помогать другим, нужно все время помнить себя, заниматься собой. В чем здесь смысл? Человеческая машина, работающая в спящем режиме, не

может помогать другим спящим машинам. Вспомнить себя — это значит проснуться. Это первое. Второе заключается в том, что эта спящая машина чрезвычайно раздроблена и несовершенна: одни центры выполняют функции других. Только цельность, обретаемая в метафизике, Сознательность и Совесть с большой буквы могут обеспечить способность человеку приходить на помощь другим. Поэтому, когда человек называет себя эгоистом, он рассуждает наивно. Чтобы обрести подлинное Эго, Самость, надо стать цельным. Так называемый эгоист, который носится со своими осколками, со своими субличностями, не в состоянии никому помочь, потому что он диссоциирован. А если человек диссоциирован, то это значит, что его субличности ничего или почти ничего друг о друге не знают. А это означает, что человек не может отвечать за себя, потому что этого «себя» просто нет. Это расщепление, эта диссоциация, данная человеку генетически и отделяющая его от всех других видов, обусловили наличие высшего механизма защиты — мышления, которое есть только у Homo Sapiens. Но это мышление находится в зачаточном состоянии и служит только самосохранению ложной личности человека. Ложная личность лишь кажется целостной, на самом деле она не просто раздроблена, диссоциирована, но её вообще в определенном смысле нет. Юнговская «Персона» — от французского *personne*, что этимологически восходит к слову «ничто». Поэтому мы и говорим, что человек — это галлюцинирующая галлюцинация, сломанная желаящая машина (Делёз-Гваттари «АнтиЭдип»). А реальность? Что в таком случае

реальность? Учение Гурджиева не даст нам ответа, так как в нём онтология тесно соотнесена с очень сложной мистической космологией. Мы можем опираться здесь только на себя и на свои философские субличности. Человек — это и есть его реальность, как нам остроумно подсказал в переписке Ефим Курганов.

9. Мышление — это, в сущности, разговор с самим собой. В таком случае мы можем сказать, что мышление ничем не отличается от обычной речи. Но это не так. Когда мы реально начинаем диалог с другим собеседником, в силу вступает универсальный механизм проективной идентификации. Нам нужно собеседника, чьего мышления мы не знаем, перетянуть на свою сторону, навязать ему свое мышление, причем так, чтобы он при этом оставался самим собой. Это не шизоидный механизм, а шизофренический в очень маленьком масштабе, если проективная идентификация нормальная. Внешняя речь всегда патологична в силу гипотезы Кроу, в силу того, что слова не похожи на вещи. Внутренняя речь, мышление патологичны в другом регистре, в шизоидном. «Другой» нашей психики, о котором много говорил Лакан, не похож на другого внешнего прежде всего в том смысле, что на него, на «Другого», нельзя образовывать перенос. Поэтому невозможен психоанализ с самим собой, так называемый самоанализ. Реальный другой плотно укомплектован своим психическим аппаратом и своими субличностью. Лакановский «Другой» с ним не может в этом сравниться. Потому что мы сами его укомплектовываем своим психическим

аппаратом, как мы его видим. И мы всегда можем предугадать его реакцию. М. М. Бахтин был, в сущности, очень западным мыслителем. Я имею в виду его теорию диалогического слова. Когда Раскольников разговаривает и спорит с письмом матери, которое так блестяще анализирует Бахтин, внутренняя мать выступает как большой лакановский «Другой», то есть, в сущности, скорее, как отец. Или Имя Отца, Супер-Эго-Символическое. Вспомним этот фрагмент бахтинской книги:

«...Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников, в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почётным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочью не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? «Любви тут не может быть», — пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а, напротив, уж есть отвращение, презрение, омерзение, что же

тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, «чистоту наблюдать» придётся. Не так, что ли? Понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчёт, а там просто-запросто о голодной смерти дело идёт! «Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота!» Ну, если потом не под силу станет, расскается? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слёз-то, скрываемых ото всех, сколько, потому что не Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь не спокойна, мучается; а тогда, когда все ясно увидит? А со мной? Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!»

«Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в испуге, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, — «ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...» (V, 49, 50, 51).

Внутренний монолог этот, как мы сказали, имел место в самом начале, на второй день действия романа, перед принятием окончательного решения об убийстве старухи. Раскольников только что получил подробное письмо матери с историей Дуни и Свидригайлова и с сообщением о сватовстве Лужина. А накануне Раскольников встретился с Мармеладовым и узнал от него всю историю Сони. И вот все эти будущие ведущие герои романа уже отразились в сознании Раскольникова, вошли в его сплошь диалогизованный внутренний монолог, вошли со своими «правдами», со своими позициями в жизни, и он вступил с ними в напряжённый и принципиальный внутренний диалог, диалог последних вопросов и последних жизненных решений. Он уже с самого начала все знает, все учитывает и превосхищает. Он уже вступил в диалогические соприкосновения со всей окружающей его жизнью.

Приведённый нами в отрывках диалогизованный внутренний монолог Раскольникова является великолепным образцом микродиалога: все слова в нём двухголосые, в каждом из них происходит спор голосов. В самом деле в начале отрывка Раскольников воссоздаёт слова Дуни с её оценивающими и убеждающими интонациями и на её интонации наслаивает свои — иронические, возмущённые, предостерегающие интонации, то есть в этих словах звучат одновременно два голоса — Раскольникова и Дуни. В последующих словах («Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец!» и т. д.) звучит уже голос матери с её интонациями любви и нежности

и одновременно голос Раскольникова с интонациями горькой иронии, возмущения (жертвенностью) и грустной ответной любви. Мы слышим дальше в словах Раскольникова и голос Сони, и голос Мармеладова. Диалог проник внутрь каждого слова, вызывая в нём борьбу и перебои голосов. Это микродиалог. Таким образом, уже в самом начале романа зазвучали все ведущие голоса большого диалога. Эти голоса не замкнуты и не глухи друг к другу. Они все время слышат друг друга, переключаются и взаимно отражаются друг в друге (в микродиалогах особенно). И вне этого диалога «противоборствующих правд» не осуществляются ни один существенный поступок, ни одна существенная мысль ведущих героев.

И в дальнейшем течении романа все, что входит в его содержание — люди, идеи, вещи, — не остаётся внеположным сознанию Раскольникова, а противопоставлено ему и диалогически в нём отражено. Все возможные оценки и точки зрения на его личность, на его характер, на его идею, на его поступки доведены до его сознания и обращены к нему в диалогах с Порфирием, с Соней, со Свидригайловым, Дуней и другими. Все чужие аспекты мира пересекаются с его аспектом. Все, что он видит и наблюдает, — и петербургские трущобы и Петербург монументальный, все его случайные встречи и мелкие происшествия — все это вовлекается в диалог, отвечает на его вопросы, ставит перед ним новые, провоцирует его, спорит с ним или подтверждает его мысли. Автор не оставляет за собой никакого существенного смыслового избытка и на равных правах с Раскольниковым входит в большой диалог романа в его целом.

10. В чем суть полифонического мышления Достоевского, с точки зрения Бахтина? Прежде всего в том, что, как считал Бахтин, в романах Достоевского «голос автора» существует наравне с «голосами героев». В психиатрии термин «полифонический» среди учеников профессора М. Е. Бурно является политкорректным синонимом термина «шизофренический». Полифоническое мышление — это оркестр без дирижера, как бы выразился Эмиль Крепелин, или оркестр, взбунтовавшийся против дирижера, как в фильме Феллини «Репетиция оркестра». Это как если бы к автору в гости пришли выдуманные им герои и завели с ним нескончаемый диалог. Но мы говорили об *отличии* диалогического мышления от внешней диалогической речи. Сколь бы диалогичным не было бы мышление, все равно оно исходит из одной психики, из одного бессознательного. Но здесь возникает сложнейшая проблема. Если, согласно Юнгу, в основе индивидуальной психики лежит коллективное бессознательное, если какой-то смысл имеют трансперсональные эксперименты Грофа, то как мы вообще можем говорить об отдельной личности, об отдельной психике? Получается, что отдельный человек — это какая-то иллюзия, а раз так, то в определенном смысле никакого мышления вообще не существует. Этот шокирующий вывод необходимо обдумать хорошенько. Если исходить из «здравого смысла», то в вымышленном произведении не существует никаких личностей. Все персонажи «Войны и мира» суть образования коллективного бессознательного Л. Н. Толстого. То же самое относится и к персонажам Достоевского. Но Бахтин

так не считал. Он был мыслителем XX века и полагал (во всяком случае, применительно к Достоевскому как прямому предшественнику нарративного искусства XX века), что герой и автор в определенном смысле существуют как самостоятельные онтологические субъекты (во всяком случае, именно так он рассуждает в трактате «Автор и герой в эстетической деятельности»). Мы же бы сказали, что, напротив, скорее, все отдельные субъекты в реальном мире являются персонажами одного Автора. Возможно, в этом состоит будущая онтология XXI века и его будущая религия. Заметим, что в этом случае проблема патологичности мышления отпадает. Если я — просто персонаж, мне не нужно преодолевать реальные фрустрации, мое мышление такое же выдуманное, как моя психика. Когда Мандельштам спрашивал:

Неужели я настоящий

И действительно смерть придет? —

то он явно исходил из того, что он *не* настоящий. Может быть, поэтому он в жизни ничего не боялся. Загадка поэтического мышления этого самого удивительного на свете поэта остается неразгаданной. Мы вообще не можем рассуждать о чужом мышлении только по аналогии со своим.

11. Дело обстоит непросто. Мы можем сказать, что Мандельштам и его творчество — это часть нашего коллективного бессознательного. Но это будет неточно, потому что бессознательное — это явление семиотически неопределенное. Мы только так говорим: Анима, Персона.

Но мы не можем сказать: «Смотри, вон твоя Анима идет!» (разве что в шутку). Мы можем наблюдать лишь какие-то проявления коллективного бессознательно-го в поведении человека. Но, в принципе, аналитическая философия и психоанализ склонны отрицать друг друга. С точки зрения позитивистов, в «чужое сознание» проникнуть невозможно. Если коллективное бессознательное действительно является чем-то безусловно фундаментальным и человеческая личность — это в лучшем случае нечто вроде вымышленного персонажа художественного произведения, то мы вправе задаться вопросом о природе мышления вымышленных персонажей нарративного искусства. Мы можем исходить из позитивистской схемы: никакого мышления у выдуманных персонажей не может быть, это просто слова на бумаге или кадры на пленке (сложнее обстоит дело с театральным искусством, но мы сейчас не будем на это отвлекаться). Но, сделав следующий шаг, мы можем сказать, что писатель или режиссер вкладывает в головы вымышленных героев свои мысли. Например, когда Достоевский устами человека из подполья выражает мысль, что любое сознание — это болезнь, то это хотя бы отчасти мысль самого Достоевского. Но тогда, сделав следующий шаг, мы можем сказать, что все наши мысли (если мы все выдуманные персонажи) вложил в нас Господь Бог. Но это звучит не слишком убедительно. Например, когда я думаю, что мне надо бы поесть, чтобы утолить голод, даже как-то странно полагать, что эту мысль вложил в меня Господь Бог. С другой стороны, с точки зрения принципа предопределенности

всякая случайность является лишь обратной стороной предопределенности, любое проявление реальности являются частью Творения (не обязательно Божественного). Так или иначе, между *подумал* и *сказал* существует принципиальное различие. И это различие не только в том, что мы не можем узнать, что подумал другой человек, а в том, что *подумал*, в отличие от *сказал*, семантически неопределенно. В этом смысле «сказал во сне» является примерно тем же самым, что «подумал наяву». Ибо во сне нам только кажется, что мы что-то говорим, на самом деле во сне мы, скорее, думаем. Мышление не подвержено верификативной иллюзии. То, что кто-то подумал, не является ни истинным, ни ложным. В этом смысле мышление действительно близко к сновидению. Недаром Бюнер дает отдельной строкой «мысли сновидения» в своей знаменитой таблице. Все это говорит о том, что буддийская и вообще восточная онтология ближе нашей новой модели мышления, чем христианская. В этом плане стоит рассмотреть драму Кальдерона «Жизнь — это сон», написанную не без воздействия восточных философских учений.

12. Сюжет драмы Кальдерона в двух словах сводится к следующему. Королю Басилио было предсказано, что его будущий сын убьет свою мать, а когда вырастет и станет королем, то будет беспощадным тираном. Первая часть предсказания сбывается — мать принца умирает родами. Тогда король заключает ребенка в темницу, где тот проводит долгие годы. Потом король, став стариком, не выдерживает и освобождает сына из тюрьмы.

Он опаивает сына снотворным напитком, юношу везут во дворец и, когда он просыпается, ему говорят, что все, что было с ним раньше, это был только сон. Но при этом его предупреждают, что и эта реальность, в которой он стал королем, может оказаться сном. Принц Сехизмундо, став королем, действительно превращается в тирана. И ничего не остается, как, вновь опоив его снотворным зельем, отправить его обратно в темницу. Когда он просыпается в тюрьме, ему говорят, что все, что с ним было, когда он царствовал, было сном, а это его настоящая реальность. Потом Сехизмундо все-таки исправляется и снова становится королем. Но реальность для него теперь все время осциллирует между сном и бодрствованием, скорее, в пользу сна.

Я спал,

И я сейчас не проснулся.

Клотальдо! Я убежден,

Что все еще вижу сон,

И, верно, не обманулся.

Если то, чего я коснулся,

Только пригрезилось мне,

Наяву я грежу вдвойне.

И я бы не удивился,

Что сплю, когда пробудился,

Раз жил я только во сне.

Что жизнь? Безумие, ошибка.

Что жизнь? Обманность пелены.

И лучший миг есть заблужденье,

Раз жизнь есть только сновиденье,
А сновиденья только сны.

Итак, согласно этой философии, никогда не знаешь, сон это или реальность, и, скорее всего, все-таки сон, потому что, как мы уже говорили, сон — более фундаментальное состояние психики, чем бодрствование, и в своей семиотической неопределенности парадоксальным образом онтологически более определено. В самом деле, мы не понимаем, что такое реальность¹, но что такое сновидение, мы в рамках философии обыденного языка, в общем-то, понимаем. Это такое положение вещей, когда мы, как правило, лежим с закрытыми глазами и нам иногда что-то показывают, вроде кино (ср. «В электрических снах наяву...» — А. Блок). Во сне действует симметричная логика (Матте Бланко), где $A = B = C \dots = \text{бесконечности}$ (о «законе Матте Бланко» смотрите подробно в нашей книге «Логика бреда»). Джон Остин в статье «Чужое сознание» (1946) писал, что в реальности «щегол может быть чучелом, но не может быть миражем; оазис, в свою очередь может быть миражем, но никак не чучелом»: 62). Однако в реальности, понимаемой как сновидение, все может быть всем, чем угодно («все равно всему и все равно бесконечности — наша формулировка закона Матте Бланко). Каким же могло бы быть мышление в такой реальности?

¹ «...эта книга — не о понимании того, что такое реальность, а о непонимании того, что такое реальность. И это, может быть, самое главное непонимание, которое я с Вадимом Рудневым разделяю» (Алла Горбунова о моей книге «Новая модель реальности»).

13. Иными словами, как можно *мыслить* при таком положении вещей, когда оазис превращается в чучело щегла, а красное вино — в предлог «покуда»? То есть что такое мышление в условиях семантической нестабильности? Может ли мышление в таком случае преодолеть фрустрации? Напомню, что мы говорим не собственно о сне, а о сне = реальности. Как можно вообще *думать*, если не на что опереться? Между тем, не будем забывать, какое большое значение придавал Блонделю мыслям во сне. Хочется сказать, что фрустрации в этой реальности = сне только снятся, а, стало быть, мышление тоже только снится. Может ли мышление сниться? Можно ли сказать «Во сне я подумал, что...»? Вроде бы можно. Хорошо, во сне я подумал, что оазис превратился в чучело щегла. Но только будем помнить, что при этом имеет место двойная невозможность семиотической фиксации мысли. Во-первых, рассказывая сон, мы его тем самым семиотизируем, то есть уничтожаем. Во-вторых, когда мы говорим, что мы о чем-то подумали, мы тем самым уничтожаем саму идею мысли как чего-то пред-вербального («Мысль изреченная есть ложь»). Но у нас нет выхода. Итак, что же происходит когда во сне я подумал, что оазис превратился в чучело щегла? Прежде всего, во сне = реальности это не вызывает удивления. с другой стороны, не вполне понятно, возможны ли во сне фрустрации. Ну, скажем, во сне бывают тревога и страх. Как мысли сновидения преодолевают тревогу и страх? Допустим, во сне мне снится, что меня убивают. Что я могу сделать? Самое лучшее — заставить себя проснуться. Сознание во сне

не отключается полностью и может контролировать «происходящее». Проблема кошмарных сновидений, когда не можешь проснуться, — особая, на нее мы не будем отвлекаться. Хотя, с другой стороны, проблема преодоления фрустрации в кошмаре наяву, например, в концлагере, очень важна. Ею, как известно, занимался Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла». Но можно ли назвать ситуацию, когда меня убивают, фрустрацией? По-моему, нет. Хорошо, возьмем классическую ситуацию фрустрации из детского психоанализа. Допустим, мне снится, что я младенец, мама ушла, я хочу есть и отчаянно кричу. Что я могу во сне = реальности сделать? Начать думать. Вот, вероятно, это и есть то, что имел в виду Бион под мыслями сновидения. Надо подумать, как достать себе пищу. Для этого нужно превратиться во взрослого, достать в холодильнике бутылку молока — и дело с концом. Нет, это похоже на пародию. Во сне мысли нужны не для того, чтобы преодолевать фрустрации. Действительно, во сне превращение играет очень большую роль. Ведь что такое превращение? Это прежде всего некая манипуляция со смыслами, а не с денотатами. Но не будем торопиться и не спеша во всем разберемся.

14. Дело в том, что превращаться могут и денотаты и не только в сказках, и не только у Кафки. Например, отец мальчика постепенно превращается в старика, а мальчик — во взрослого, куколка превращается в бабочку и т. д. Однако в нашей гипотетической реальности = сновидении нет денотатов, одни смыслы. Но нас

прежде всего интересует роль *мышления* в этой гипотетической реальности. Здесь надо сделать такую оговорку, что в ней вещи все время превращаются в смыслы и обратно, примерно как в «Алисе в стране чудес»¹. На такой превращающейся онтологии строится и «Жизнь это сон» Кальдерона, и один из наиболее популярных и показательных постмодернистских фильмов Бунюэля «Скромное очарование буржуазии» (вряд ли случайно, что оба — испанцы!). Но вот все дело в том, что я не думаю, что это *гипотетическая* реальность, наша обычная реальность и есть такая на самом деле (с «поправкой Горбуновой»). И вот я думаю, что, так или иначе, *мышление это и есть превращение*, превращение смыслов, разумеется. Мысль и смысл по-русски — одного корня.

Когда Бион писал, что мышление нужно для того, чтобы справляться с мыслями и что оно преодолевает фрустрацию, он исходил, не считая себя мыслителем, из обыденно понимаемой реальности. Хотя реально он, конечно, *был* мыслителем. И как все полифонические люди, непоследовательным мыслителем. Отсюда его романтический или платонический лозунг, что мысль появляется раньше мыслителя. Не считал себя философом и Фрейд, и, кроме того, он был человеком мышления XIX века, то есть в таких работах как «Невроз и психоз» и «Утрата реальности при неврозе и психозе», откуда, видимо, и пошел критерий «тестирования

¹ В книге «Новая модель реальности» мы забыли упомянуть» Кэрролла как одного из ее предшественников. Впрочем, за нас это с избытком сделал Делёз в «Логике смысла», книге — непосредственной предшественнице нарративной онтологии.

реальности», он также исходил из обыденного понимания реальности. Юнг считал себя и был мыслителем (хотя среди многих клинических психиатров и ортодоксальных психоаналитиков бытует мнение, отчасти, быть может, и справедливое, что он был наполовину шарлатаном и графоманом). И вот встает вопрос: какую реальность мы тестируем? Можно ли протестировать ту гипотетическую реальность, которую мы анализировали выше? По-моему, нет. Как тестировать реальность, в которой сон переходит в явь и обратно? А ведь этот критерий был придуман для того, чтобы диагностировать у людей психоз. В «Новой модели реальности» отличие нормы от психоза плавающее. Кстати, мы забыли еще про Лакана, который, очевидным образом, не исходил из обыденного понимания реальности. Я имею в виду часто цитируемый мною фрагмент его пятого семинара, что норма — это просто хорошо компенсированный психоз и что вообще человеческая личность имеет психотическую структуру. Здесь он предвосхитил гипотезу Кроу. Так вот, если в НМР нет различия между психической нормой и патологией, стало быть, мышление не может быть психопатологическим.

15. Выше мы писали, что в новой модели реальности нет денотатов, одни смыслы. Но все же это не совсем понятно: если это все-таки реальность, значит, должны быть какие-то хотя бы подобия вещей и фактов. А если есть какие-то химеры вещей и фактов, то должна быть какая-то химерическая психопатология. Слово

«химера» я употребляю здесь так же, как в НМР — это постпсихотическая репаративная реальность, когда совмещается в одном объекте несовместимое. «Полужуравль и полукот» (примерно об этом, не употребляя слова «химера», говорит Бион в статье «Нападение на связь»). В то же время слово «химера» означает что-то неподлинное, химерическое. Недаром полужуравля-полукота пушкинская Татьяна видит во сне. Что же такое химерическая психопатология? Возьмем истерию. Это и болезнь, и не болезнь. Фрейд и Брейер в «Исследованиях истерии» вроде бы доказали, что это болезнь, а не симуляция, как считали раньше. Но болезнь эта не тяжелая. На очередном витке развития психиатрии XX века американский антипсихиатр Томас Сас рассматривал истерию просто как другой тип поведения, а вовсе не как болезнь. Какое мышление у истериков? Демонстративное, или деиксоманическое, как называет его мой друг Александр Сосланд в своей замечательной книге. Это значит, что свое поведение истерик строит так, чтобы его непременно замечали другие. Человеческое поведение, хотя и не всегда — это результат мышления как превращения. Недаром в современных западных руководствах истерия называется гистрионическим (то есть театральным) расстройством личности. Итак, истерик думает для «Другого» в другом или для «Другого» в себе. Последний случай я называю истерией с самим собой. Это нечто вроде разобранного Бахтиным внутренне-го монолога-диалога Раскольникова с его матерью. Это не значит, что Раскольников истерик, но А. И. Сосланд как раз подчеркивает в своей книге, что деиксомания,

стремление продемонстрировать себя «Другому» — это универсальная человеческая черта, а вовсе не специфическая для истерика. Что же такое химерическое мышление? Это просто превращение внутреннего смысла во внешний и обратно в НМР на ленте Мебиуса. Мы рассмотрели только истерию, болезнь, которая лучше всего поддавалась психоаналитическому лечению. В следующей главе «Мышление и тревога» мы рассмотрим обсессивно-компульсивное и шизофреническое мышление.

Мышление и Реальное Лакана

В книге 7-й семинаров «Этика психоанализа» (1959–1960) Лакан недвусмысленно связывал Реальное с инстинктом смерти. Он говорил, в частности:

Непосредственного доступа к нему¹ нет, хотя некоторые из вас, недоумевая о том, какое значение я собираюсь ему, в конце концов, приписать, должны были бы заметить, во всяком случае, что смысл этого понятия не может не быть связан с пронизывающей все творчество Фрейда тенденцией, следуя которой, он отказывается от первоначального противопоставления принципа реальности принципу удовольствия, чтобы после ряда колебаний, сомнений и незаметных смещений ориентиров постулировать, в окончательном варианте своего учения, существование по ту сторону принципа удовольствия чего-то такого, относительно чего далеко не ясно, как оно с первоначальным противопоставлением соотносится.

По ту сторону принципа удовольствия является нашему взору тот темный лик — настолько темный, что мог предстать в глазах некоторых несовместимым не только с биологической,

¹ Реальному. — В. Р.

но и с научной мыслью вообще — имя которому **инстинкт смерти**¹).

Далее в той же главе второй он сказал следующее:

К чему приводит нас артикуляция механизма восприятия? К реальности, разумеется. На что, однако, распространяется, согласно гипотезе Фрейда, власть принципа удовольствия? Опять же на восприятие — это как раз то новое, чем обязаны мы именно ему. Первичный процесс, утверждает он в седьмой части **Толкования сновидений**, стремится развиваться в направлении идентичности восприятия. К идентичности этой восприятие стремится всегда — для него неважно, носит она реальный или же галлюцинаторный характер. Если совпадение с Реальным не получается, оно оказывается галлюцинаторной. В этом и состоит опасность в том случае, если первичный процесс берет верх.

Итак, по Лакану, поучается, что первоначальная фрейдовская оппозиция принципа удовольствия и принципа реальности мифологически нейтрализуется (по А. М. Пятигорскому) влечением к смерти, которое в определенном смысле Лакан отождествляет с Реальным, нормального определения которого *per genus proximum et differentia specifica* он нигде не дает. Реальное это расширенное понимание фрейдовского Оно

¹ Выделение Лакана. — Прим. автора

(по мнению А. И. Сосланда, высказанному в устном разговоре). При этом, если принцип удовольствия не совпадает с Реальным, как говорит Лакан, то оно становится галлюцинаторным. Не наводит ли это нас на мысль, что и само мышление в этом случае становится галлюцинаторным? В самом деле, если реальность в соответствии с представлениями буддизма — это коллективная галлюцинация, или согласованный бред в терминах нашей книги «Логика бреда», то не логично ли предположить, что и мышление осуществляется в галлюцинаторном режиме? Но что это значит? Это значит, что никакого мышления на самом деле не существует, что мы живем, как во сне, или в гурджиевском смысле *просто* во сне, и только тогда, когда мы просыпаемся к осознанной жизни путем самовоспоминания или метаноии, у нас появляются подлинные креативные мысли. Это можно назвать творческим вдохновением. В этом плане обычная Аристотелева логика перестает играть роль в нашем мышлении, и основополагающим становится закон Матте Бланко — все равно всему и все равно бесконечности («Это выжимки бессониц, / Это свеч кривых нагар... — Ахматова «Про эти стихи»). В предыдущей главе о дзенском мышлении мы исходили из того, что очищение ума (самадхи) происходит после долгих тренировок ума и тела мгновенно. Это не совсем так. Сэкида Кацуки в книге «Практика дзен» пишет о том, что имеются промежуточные стадии самадхи и что, более того, самадхи может проявляться в повседневной жизни, когда поэта посещает вдохновение. Примеры этого дает классическая японская поэзия хокку и танка.

Жизнь моя!
Наедине с хризантемой
Замру в тишине...
Мидзухара Сюси.

Далее Лакан в том же семинаре говорит:

Внешний мир представляет собой нечто такое, с чем сознанию как-то предстоит разобраться, и с тех пор, как существуют люди, как люди мыслят и как пытаются они построить теорию познания, разбираться с ним оно не перестает. Далее Фрейд в эту проблему не углубляется, замечая лишь, что она, безусловно, очень сложна и что нам далеко еще до того, чтобы делать даже отдаленные предположения об органических причинах происхождения этого конкретного механизма.

<...>

Я уже обратил ваше внимание на то, что, как подчеркивает сам Фрейд, мыслительные процессы постольку, поскольку руководит ими принцип удовольствия, бессознательны. Сознания они достигают в меру того, как имеется возможность их вербализовать, как отрефлектированное объяснение водит их в пределы досягаемости принципа реальности, в пределы досягаемости сознания как инстанции постоянно бодрствующей и употребляющей внимание на то, чтобы улавливать происходящее в реальном мире, позволяя тем самым в этом мире как-то ориентироваться.

Именно в собственных речах своих удаётся субъекту по чистой случайности уловить те хитрости, с помощью которых встраиваются в его мысль принадлежащие ему идеи — идеи, происхождение которых зачастую более чем загадочно. **Необходимость высказать их, артикулировать вводит между ними порядок порою чрезвычайно искусственный.** На это охотно обращал внимание Фрейд, замечая, что объяснения тому, что те или иные настроения и расположения духа возникают у нас одно за другим, находятся неизменно, но при этом ровным счетом ничто не свидетельствует о том, что подлинные причины именно этой последовательности их появления нам доступны. В этом как раз и позволяет нам убедиться опыт психоанализа.

Итак, Лакан, ссылаясь на Фрейда, прямо говорит, что мыслительные процессы исходят из принципа удовольствия и поэтому в основе своей бессознательны. Да и как может быть иначе! Принцип удовольствия, он же первичный процесс, полностью главенствует в жизни младенца. И этот принцип в своей основе — галлюцинаторный. Ведь младенец большую часть дня спит. И мыслительные процессы протекают у него во сне (мысли сновидения, по Биону), а сновидение — это, по Фреду, галлюцинаторное исполнение желаний. Какие желания у младенца? Это желание прежде всего материнской груди. Желание поесть досыта. Но оно носит у младенца на оральной стадии психосексуального развития эротический характер. Мы ещё не касались вопроса

о том, как мышление связано эросом. По Мелани Кляйн, в бессознательной жизни младенца слиты эрос и танатос, поэтому мы можем сказать, что младенец в гораздо большей степени живет в Реальном, чем взрослый. Что это значит? Прежде всего то, что младенец все время и боится смерти, и его влечет к ней. Эта диалектика прекрасно отражена в стихотворении Гёте «Лесной царь»:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;

Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —

«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в темной короне, с густой бородой». —

«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Веселого много в моей стороне:

Цветы бирюзовы, жемчужны струи;

Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:

Он золото, перлы и радость сулит». —

«О нет, мой младенец, ослышался ты:

То ветер, проснувшись, колыхнул листья».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей

Узнаешь прекрасных моих дочерей:

При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».
«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».
«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». —
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать».
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

Эта амбивалентность говорит о том, что в Реальном господствует первичный процесс. Реальное бессознательно. В определенном смысле Реальное — это и есть мышление. А поскольку Реальное — это нечто невозможное, то и мышление в этом смысле возможно только в Реальном, то есть невозможно. Как это понять? Разве младенец *думает*? Как говорил Кролик в «Винни Пухе»: «Когда я говорю "думать", я имею в виду думать!» Подумаем об этом серьезно.

Итак, Лакан говорит, что мысль достигает принципа реальности, когда она вербализуется. То есть становится в традиционном смысле сознательной. Принцип

реальности и язык тесно связаны. Язык — это регистр Символического (расширенное лакановское понимание СверхЯ). Когда появляется язык, то бессознательное Реальное уходит в подполье. Как же функционирует мышление, если оно, как считает Лакан, связано с Реальным, а то, в свою очередь, галлюцинаторно и опосредовано инстинктом смерти, в котором нейтрализуются принцип удовольствия и принцип реальности? Кажется, нам теперь удастся приблизиться к ответу на вопрос о том, что такое Реальное. Реальное как нейтрализация принципов удовольствия и реальности, получается, и есть та самая невозможная смерть, которой не существует, как считали буддисты и Джон Уильям Данн (см. Приложение). Можно в связи с этим высказать гипотезу, в соответствии с которой бессознательное мышление человека, а тем более младенца, выросшее в Реальном, всегда есть мышление о смерти. Тот есть если довести эту мысль до логического завершения, то о чем бы ни думал человек, а тем более младенец (согласно реконструкциям Мелани Кляйн), он всегда думает о смерти. Поразительно, как сходные мысли выразил Давид Самойлов, конечно, не читавший Мелани Кляйн, в следующем стихотворении:

Ребенок ближе всех к небытию.

Его еще преследуют болезни,

Он клонится ко сну и забвению.

Под зыбкие младенческие песни.

Его еще облизывает тьма,

Подкравшись к изголовью, как волчица,

Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.
Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.
Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он — при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне,
Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве — забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядишься в него: вот-вот его разбудят.

В главе «Эксперимент со смертью» нашей книги «Реальность как ошибка» мы показали, что все слова в языке связаны со словом «смерть». Позволим себе процитировать этот фрагмент:

Ясно, что все формы жизни так или иначе связаны со смертью. Вот человек идет на работу. Связано ли это как-то со смертью? Конечно, связано. Человек может не думать о смерти, но влечение к смерти есть в большей или меньшей степени у каждого человека. Идя на работу, человек может не думать о смерти. Но он может думать, что он потеряет работу и обречет детей на голодную жизнь, что они в конце концов умрут. Всякое бытие есть бытие к смерти. Кьеркегор — Хайдеггер — Камю

реал («Чума», «Посторонний»). Любое произведение искусства связано со смертью. Как? А безмятежный пейзаж Куинджи «Сосны, освященные солнцем»? Он тоже связан со смертью? Каким же образом? Приходит на ум строка «И вчерашнее солнце на черных носилках несут». Это о смерти Пушкина: «Солнце русской поэзии закатилось» — слова из некролога, написанного Владимиром Одоевским. Но причем здесь Архип Куинджи? Как причем? Но он же умер! Все люди смертны. Кай — человек. Следовательно, Кай смертен. «Но я-то не Кай!» — в отчаянии кричит герой рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича». Неужели в языке нет ни одного слова, которое бы не было связано со смертью? Может быть это Бог? Но Бог умер, сказал Ницше. Если бы не было языка, то не было бы смерти, потому что некому было бы произнести слово «смерть». В этом смысле смерть присуща человеку только потому, что он говорит. Человек говорит языком смерти. Вот почему все слова языка связаны со смертью.

Но, с другой стороны, «язык это жизнь, и именно в языке заложено бессмертие» (Ефим Курганов в переписке со мной). Здесь, на мой взгляд, присутствует сложная диалектика. На распаде (смерти) культуры XIX века были придуманы два типа культурных языков — живой и мертвый — для того, чтобы удерживать культурный гомеостаз этого чрезвычайно трудного столетия. Витгенштейн и Соссюр придумали мертвый язык логического позитивизма и структурной лингвистики.

Этот язык способствовал формированию небывалой по своим достижениям, но с житейской точки зрения совершенно ненужной “гуманитарной” науки. Фрейд и Хайдеггер придумали живой язык, позволявший житейскому либо высказаться в его речи в случае психического недомогания, либо обращаться к нему с “вопрошанием” в случае экзистенциального кризиса. После Второй мировой войны мертвое стало смешиваться с живым и потихоньку отравлять живое. Произошло Вавилонское столпотворение. Знаменитая “кроссдисциплинарность”, по сути дела, есть выражение недовольства ни одним из существующих языков, недопонимание или полное непонимание их природы и функций и, как следствие этого, общий кризис всех гуманитарных наук, за которым, очевидно, последует тот “взрыв”, о котором перед *смертью* писал Лотман [6]. Уцелевшим после этого взрыва, вероятнее всего, останется одно — продолжать жить и говорить, говорить, говорить до бесконечности.

Язык связан и с жизнью, и со смертью. Когда я в книге «Новая модель реальности» заменил оппозицию истинности и ложности противопоставлением жизни и смерти, получилось что каждое высказывание языка связано как с жизнью, так и со смертью. Но не преувеличение ли это, что любой рассказ — это рассказ о жизни и смерти? Можно ведь рассказать просто какую-то ерунду: «Приснился раз Бог весть с какой причины советнику Попову странный сон: поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон». Причем здесь жизнь и смерть? Но как же? Он в финале, чтобы спасти свою жизнь, заложил всех своих друзей и знакомых.

Ну, хорошо. «Без окон без дверей, полна горница людей». Загадка — это тоже дискурс, языковая игра, род наррации. Где здесь жизнь и смерть? Но подумайте сами: без окон, без дверей — они же там все задохнутся! Хорошо, это шутка. Возьмем просто предложение «Я вижу дерево» (из поздних дискуссий Мура и Витгенштейна). Просто я вижу дерево. Но так не бывает. Нужно придумать контекст. Вот я смотрю в окно, вижу дерево и думаю, что я скоро умру, и оно меня переживет. Гляжу ль на дуб уединенный и мысль: патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Или наоборот. Смотрю на старое дерево и думаю, что эту смоковницу нужно спилить. Нет, про деревья сколько угодно. Дуб князя Андрея, например. Это понятно. Мировое дерево. Пример неудачный. Хорошо, вот стихотворение Брюсова:

О, укрой свои бледные ноги.

Но это стихотворение не о смерти и жизни, а о сексе. Но вспомним хотя бы статью Сабины Шпильрейн «Деструкция как причина становления»: любовь, секс, рождение и смерть, все там увязано воедино. Ну, хорошо, допустим мы действительно на огромном количестве примеров показали, что любой дискурс связан с диалектикой жизни и смерти. Что же это нам дает в плане того, что реальность — это наррация? Поскольку наррация вышла из мифа, где нет разграничения реального и вымышленного, а миф — это нейтрализатор жизни и смерти, то наррация-реальность — это естественное расподобление понятий жизни и смерти и их трагическое расподобление.

А о чем вообще говорить, как не о жизни и смерти? Лакан считал, что всякое влечение может быть редуцировано к влечению к смерти. Если влечение к смерти вообще существует, оно уравнивает инстинкт жизни. «Влечение к жизни» — так нельзя сказать. Жизнь — это желание. Желания всегда исходят из Я, а влечения — из Оно. «Оно» это отстойник «низменных» сексуальных влечений. Но Сабина Шпильрейн в статье 1911 года поняла, что сексуальность и влечение к смерти тесно связаны:

«При зачатии происходит соединение женской и мужской клеток. Каждая клетка при этом уничтожается как единица, и из продукта уничтожения возникает новая жизнь. Некоторые низшие живые существа, например, мухи-поденки, с производением нового поколения лишаются жизни и умирают. Для них создание — это одновременно и гибель, что, взятое само по себе, есть наиболее страшное для живущего. Если собственная гибель служит новому созданию, то она становится для индивида желаемой».

Для биологически высоко организованного индивида, состоящего уже не из одной единственной клетки, само собою разумеется, что он не весь уничтожается в половом акте. Но половые клетки, исчезающие как единицы, есть особые для организма элементы: они находятся в тесной взаимосвязи со всей жизнью индивида и содержат в концентрированной форме всего производителя, постоянно влияющего на них при их развитии и на которого они также постоянно влияют.

Эти важнейшие экстракты индивида уничтожаются при оплодотворении. Соответственно объединению половых клеток в акте совокупления происходит теснейшее объединение двух индивидов: один проникает внутрь другого. Различие лишь количественное: всасывается не весь индивид, а только часть его, представляющая, однако, в этот момент значение всего организма. Мужская часть растворяется в женской; женская же становится беспокойной, получая новую форму благодаря чужому захватчику. Перестройка касается всего организма; разрушение и восстановление, всегда происходящие и в обычных обстоятельствах, идут особенно резко. Организм освобождается от половых продуктов, как от всякого экскрета.

Было бы невероятно, чтобы индивид не подозревал об этих процессах разрушения и перестройки в своем организме, хотя бы в соответствующих чувствах. Как чувства наслаждения сами даны в инстинкте продолжения рода, так и чувства отпора, такие как страх и отвращение, не выступают следствием ошибочного связывания с пространственно сосуществующими экскретами, не являются отрицательными, означающими лишь отказ от сексуальной деятельности, а являются чувствами, соответствующими разрушающим компонентам самого сексуального инстинкта.

Но я вновь задаю себе один и тот же вопрос: как мышление связано с Реальным? С инстинктом смерти? Действительно ли я верю в бессмертие? Эта вера «мерцает». В те редкие моменты, когда я понимаю, *что* хочет сказать Джон Уильям Данн, мне действительно кажется, что смерти нет. И *думать* здесь не о чем. Но если думать не о чем, то зачем тогда нужно мышление? Реальное существует только в связке с Символическим и Воображаемым. Воображаемым Лакан называл сферу Эго. Мне всегда это было непонятно. Почему Я — это Воображаемое? Я — это самая что ни на есть реальность. Но я же сам писал «Меня нет, но мне страшно» [9]. Но это же про шизофрению. А как же множество маленьких я у Гурджиева и Успенского? Итак, я — это Воображаемое. Можно даже сказать, Виртуальное. Стало быть, мышление тоже виртуально. Конечно, ты же сам писал выше, что мышление галлюцинаторно. И я — это галлюцинирующая галлюцинация. Но это же про шизофрению. Нет, книга «Новая модель шизофрении» не про шизофрению. Это очередная модель реальности. Там ключевую роль играл концепт проективной идентификации. Проективная идентификация Кляйн-Биона для меня такая палочка-выручалочка. Может быть, она поможет мне разобраться в том, как соотносятся мышление и Реальное Лакана? В каком регистре происходит проективная идентификация? Напомню себе и вам, что это такое. Проективная идентификация — это универсальный механизм защиты, суть которого в том, что субъект пытается навязать собеседнику свое мышление и при этом хочет, чтобы собеседник оставался

самим собой. Проективная идентификация, таким образом, происходит в режиме Воображаемого, в режиме Я — Ты, как бы сказал Лотман. А «Ты» — это тоже Воображаемое? Моя жена, мое Ты — это само реальное, что есть на свете. Я не могу ее назвать галлюцинирующей галлюцинацией, хотя Галич пел:

Как мне страшно, что ты жена!

Как мне страшно, что ты жива!

Воркутинской долгой ночью

Ты была воображена...

И меня с моей женой не связывают отношения проективной идентификации. Я никогда не навязываю ей своего мышления; и хотя она мне свое, порой, навязывает, оба мы остаемся самими собой, хотя нас связывают почти 30 лет совместной жизни. И все же я так до конца и не понял, как связано мышление и Реальное Лакана.

Начнем все сначала. Мышление необходимо для преодоления фрустрации. В каком регистре имеет место фрустрация? Я хочу есть! Мне больно! Стало быть, в регистре Воображаемого. Когда мышление становится креативным? С появлением Символического, Имени Отца. Когда появляется Реальное? Реальное — это бессознательное. Оно присутствует всегда, но незримо. Реальное Лакан связал с влечением к смерти, то есть с любимым влечением, со сферой Оно. Как же Реальное связано с мышлением? Мышление, как и Реальное, галлюцинаторно. Мышление — это не язык. Оно предсемиотично. Если верить Юнгу, то все символическое, все потенциально

семиотическое заложено в человеке генетически. Школа Гурджиева называет это *сущностью*. По Гурджиеву, у маленького ребенка нет личности, а есть только сущность. Младенец асемиотичен. Он все время спит. Что значит мысли сновидения, по Биону? Вот мне сегодня приснился старый приятель. Значит ли это, что я во сне «подумал» о своем старом приятеле? Ну, вот разве что в кавычках. Я не чувствую влечения к смерти. Разве что иногда, во время депрессии, когда совсем не хочется жить. Но Фрейд имел в виду под влечением к смерти нечто другое. Он писал: «Смерть — это цель жизни». Но я не верю в смерть. Существует труп. Даже у Иисуса был труп, что так страшно изобразил Ганс Гольбейн. Но за смертью следует возрождение. Переход из клеточной жизни в молекулярную, а из нее — в электронную. А. М. Пятигорский говорил, что смерть — это прекращение мышления. Сознательность есть *преодоление* мысли. Что значит сделаться сознательным? Это означает полное отсутствие бессознательного и, стало быть, Реального. Это достигается сложными тренировками тела и ума при помощи отдельного внимания и самовоспоминания. Это похоже на практики дзен, приводящие к Просветлению. Что происходит с человеком, когда мышление ему больше не нужно? Фрустраций больше нет. Я не верю в это. Даже у Иисуса были фрустрации. Вспомним хотя бы эпизод в Гефсиманском саду. «Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси». В Иисусе Христе согласно Моррису Николлу, было две ипостаси: Иисус означает Любовь, а Христос — Истину («Аз есмь Истина и Жизнь»). В Нем была заложена амбивалентность.

Все-таки хоть Он был зачат от Святого Духа, но в чреве обыкновенной женщины. Мышление не исчезает со смертью, оно *трансформируется* в более высокое молекулярное и высочайшее электронное мышление, которое нам никогда, видимо, не будет доступно.

В лекции «Символическое, Воображаемое и Реальное» Лакан сказал такую фразу: «...le sujet hallucine son monde (субъект галлюцинирует свой мир). Этот дословный перевод мне кажется более точным, чем перевод А. Черноглазова («...мир субъекта является его собственной галлюцинацией»). В чем разница между двумя этими переводами? В том, что перевод Черноглазова более «идеалистический», а мой — более «материалистический». Субъект галлюцинирует свой мир. Это означает, что мир вообще-то, по-видимому, существует, вот только субъект делает из него галлюцинацию, потому что иначе воспринять его не может. Он находится в платоновской пещере, откуда видны только искаженные тени реальности. Это соответствует моему понятию визуализированного согласованного бреда. Мы все галлюцинируем. Значит ли это, что нас на самом деле не существует? Нет, это означает другое: что мы не знаем, как на самом деле выглядит внешний мир. Как известно, Гурджиев утверждал, что человек — это спящая машина. Но дело даже не в Гурджиеве. Когда мы спим в узком смысле слова, то каждый, как правило, видит *свое* сновидение. Когда мы галлюцинируем наяву, то мы все переживаем примерно одну и ту же галлюцинацию. В книге «Логика бреда» я назвал это согласованным бредом,

опираясь на понятие Чарльза Тарта «согласованный транс». Согласованному бреду я противопоставил подлинный бред. К этим понятиям можно подверстать концепты «согласованная галлюцинация» и «подлинная галлюцинация». Когда мы сидим в комнате и слушаем доклад — это согласованная галлюцинация. Означает ли это, что на самом деле мы нигде не сидим и нет никакого доклада? Доклад — это *подлинная* галлюцинация. Значит ли это, что то, что я сейчас говорю, является полным бредом? И если да, то каким, согласованным или подлинным? Но согласованным не всегда значит нормальным, а подлинным — не всегда значит безумным. Также согласованность не подразумевает, что люди хорошо понимают друг друга. Скорее, они делают вид, что понимают. Они договорились, что следует делать вид, что они понимают друг друга для того, чтобы не было коммуникативного хаоса. Мы все «воспринимаем» мир более или менее одинаково, но это лишь коллективная галлюцинация, согласованный бред. Поскольку мы не можем по определению выйти из платоновской пещеры. Из языковой тюрьмы. Ведь ясно, что мы, скорее, живем в мире слов и предложений, а не в мире вещей и фактов, на которые они не похожи (моя интерпретация гипотезы Тимоти Кроу). Что же мы тогда вообще воспринимаем? Славой Жижек назвал одну из своих книг «Добро пожаловать в пустыню Реального». Философ перефразировал слова Морфеуса из «Матрицы», когда тот говорит Нео: «Добро пожаловать в пустыню реальности!» — и показывает ему какие-то развалины. Реальное — это вещь в себе или объект «О»

Биона, оно, в принципе, невидимо. Оно как гурдживский Абсолют, оно есть, но представить его невозможно. Мы — несознательные, неразвитые существа, агрессивные или дефензивные, близорукие или дальнзоркие, толстые или тонкие, умные или тупые, но всех нас или почти всех объединяет одно: мы думаем, что мы что-то понимаем в реальности. В книге Георгия Чернавина «Непонятность само собой разумеющегося» приводится, в частности, случай девушки-шизофренички, которая перестала понимать, что значит мыть посуду. В духе антипсихиатрии можно сказать, что эта девушка гораздо ближе к реальности, чем homo normalis, который хорошо знает, как мыть посуду, и не видит в этом никакой проблемы. Надо просто взять тарелку и губку, нанести на губку пару капель моющего средства. Нанести его на поверхность тарелки, повозить немного губку по тарелке, потом прополоскать чистую тарелку под струей воды, вытереть тарелку полотенцем или поставить в сушилку (это пример самого Г. Чернавина, немного мной видоизмененный). Так что же нас здесь не устраивает? а то, что тарелка живая, она может разбиться и ей может стать больно. Позвольте, скажут нам, а далеко ли вы ушли от той девушки из книги Георгия Чернавина? Нет, недалеко. Но разве у вас нет любимой чашки или кружки, которые вы боитесь разбить, или даже любимой вилки или чайной ложки? У меня есть. И у моей жены. И у дочери. И у внучки. Итак, мы галлюцинируем свой мир. Можем ли мы увидеть эту чертову подлинную реальность или мы так и обречены сидеть в платоновской пещере? Гуржиевская школа говорит, что можем. Только у него другая

метафора: бежать из тюрьмы. Для этого нужно добиться сознательности. Но как же ее можно добиться? И так, каким же образом стать сознательным? Ответ может показаться неожиданным. Нужно, чтобы в человеке заговорила Совесть. Совесть и Сознательность в русском языке одного корня — ‘ведать’, ‘знать’. Только Сознательность расположена в интеллектуальном центре, а Совесть — в эмоциональном. Вот и вся разница. Но как заставить Совесть заговорить? Для этого нужно *помнить себя*. Отсюда произошел термин «*самовоспоминание*». Но чтобы помнить себя, нужно на это положить всю жизнь. Для этого нет необходимости уходить в монастырь, можно и даже поощряется жить обыденной жизнью — ходить на работу, пить вино, смотреть кино, спать с женой, даже курить. Но при этом все время стараться помнить себя. И необходимо помнить, что даже если что-то у вас получится, а, скорее всего ничего не получится, «ибо много званых, но мало избранных», и будет только хуже, чем в начале, ни в коем случае нельзя практиковать все это в одиночку, по книгам. Нужно искать школу. А это очень непросто, потому что школы «Четвертого пути» делают все, чтобы их было трудно найти. Ибо главный принцип «Четвертого пути» — *делать усилие*. Первое усилие, которое необходимо делать — это как можно меньше спать в прямом и переносном смысле. И стараться все время помнить себя. Как этого добиться? Путем упражнения, которое называется *раздельное внимание*, или *самонаблюдение*. Надо стараться одновременно наблюдать за собой и за реальностью. Это очень трудно. Первый раз не получится

удерживать такое внимание даже в течение нескольких секунд. Родни Коллин в своей книге «Теория небесных влияний» считает, что в этом упражнении должны быть задействованы три объекта: тот, кто наблюдает; то, за чем или за кем он наблюдает, и Солнце. Например, человек одновременно наблюдает за собой, за деревом и за Солнцем [4, с. 326]. Если подумать, то здесь нет ничего удивительного. Ведь мы живем в солнечной системе и все питаемся солнечным светом. И Солнце — это Иисус Христос. Я сам дошел до этой идеи, а потом нашел ее подтверждение в книгах Родни Коллина. И здесь тоже нет ничего удивительного. Солярное божество есть во многих домировых религиях. Чтобы не ходить далеко — в Египте: «Солнце, Божественный Ра Гелиос» В. Я. Брюсов). Но допустим, вы нашли школу. Замечу, что обучение там платное. Особенно много «драл» сам Гурджиев со своих учеников. Он говорил о том, что он возьмется учить любого, у кого есть толстая чековая книжка. Здесь тот же принцип — сделать усилие, не жалеть денег. Итак, допустим, вы нашли школу и учителя. Сколько времени займет обучение? Всю жизнь. И не одну. Но допустим, вы стали сознательным. Как от этого изменится ваше мышление? В этом необходимо разобраться серьезно.

Какое было мышление у Иисуса Христа, одного из самых сознательных людей на Земле, которого П. Д. Успенский в книге «Новая модель Вселенной» называл наряду с Буддой сверхчеловеком? Что характерно для мышления Христа? Именно для Христа, а не для Иисуса? Потому что если мы начнем говорить о евангельском Иисусе, мы вспомним много неприятных черт:

грубое обращение с матерью, изгнание торговцев из храма, разборки с фарисеями, которые в отличие от саддукеев, действительно хотевших Его убить, были настроены просто понять, Тот ли Он, за Кого себя выдает. И лучшие из них — Никодим или Иосиф Аримафейский — пытались спасти его от гибели. Но трудно говорить о Христе, не говоря об Иисусе. Все-таки в целом Он был прекрасный человек. Он простил Петра, который трижды отрекся от Него, Он сделал «ловцами человеков» простых рыбаков, которые после Его ухода приняли мученическую смерть за Него. Какого же рода была главная особенность Его мышления? Мне кажется, то, что Он говорил иносказаниями, притчами, чтобы его понял простой народ (или, наоборот, чтобы не понял, как считает эзотерическое христианство, одно из самоназваний школы «Четвертого пути», которое считало, что в Новом Завете, как и в любом Священном Писании, все зашифровано для избранных). Например, Морис Николл в книге «Новый человек» писал, что под «прелюбодеянием» Христос понимал смешение доктрин. Что значит говорить притчами? Это эмоциональный, интуитивный язык, порой глубоко парадоксальный, близкий к дзенскому мышлению. Ну, хорошо. А как же Реальное Лакана? Так вот оно Реальное: Христос, Спаситель, Самость, Солнце, Реальное — это все названия одной и той же сущности. И ведь у Христа, как считают психоаналитики, было сильное влечение к смерти. А что Ему еще оставалось в Его положении! Но тем, кому хорошо на *этом* свете, все это ни к чему. Ну, и слава Богу!

Вадим Руднев

РЕАЛЬНОСТЬ, КАК Я ЕЁ ВИЖУ

Формат 60×90 1/16. Печ. л. 15,5.

Подписано в печать 15.11.2021.

Центр гуманитарных инициатив

193231, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, д. 27А, офис 9-Н

Отпечатано: ПАО «Т8 Издательские Технологии»

109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.

Тел./факс: +7(495) 775-88-85. E-mail: contact@t8group.ru

Чтобы понять эту книгу — нужно «уметь мечтать». Нужно с самого начала принять течение мысли Руднева, его диалог с самим собой и голосами, рождающимися в его бессознательном, быть готовым переживать его наваждения, продумывать его мысли и узнавать в них себя.

Вадим Руднев возвращает мышление его исходной природе — тому истоку безумия, из которого оно произрастает. В тех бескомпромиссных координатах, в которые помещает нас Руднев, любая настоящая мысль безумна. Со ссылкой на Лотмана он пишет: «способность разума мыслить — это в определённом смысле способность человека сходить с ума».

В некотором роде творчество Руднева выглядит подобным гибридом: как если бы в философию языка — запустить вирус безумия, в результате чего получается нечто очень странное, очень самобытное и полное удивительных озарений, которые никуда не вписываются.

Алла Горбунова

ISBN 978-5-7913-0193-2



9 785791 301932 >



ii465920

6513